

БОЕВИК

ВОЕННО-ФАНАСТИЧЕСКИЙ

ДМИТРИЙ
ВОЛОДИХИН

ПОВОРОТ
РЕК
ИСТОРИИ

ОЛЕГ
ДИВОВ

ДМИТРИЙ
ФЕДОТОВ



ИМПЕРИЯ НЕИЗБЕЖНА!

Военно-фантастический боевик

Олег ДИВОВ

Поворот рек истории

«Махров»

2019

УДК 82-344
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Дивов О. И.

Поворот рек истории / О. И. Дивов — «Махров»,
2019 — (Военно-фантастический боевик)

ISBN 978-5-00155-072-3

История России могла пойти по тысяче путей, помимо того, который мы знаем. Сборник рассказов ведущих писателей-фантастов «Поворот рек истории» предлагает взглянуть на альтернативные варианты истории нашей страны, те, которые по каким-то причинам не состоялись. Там есть Россия, которая никогда не знала ордынского ига. Россия, которая открыла Америку, Россия, в которой победили декабристы, Россия, в которой Советский Союз все-таки взял верх в борьбе за мир во всем мире, Россия, в которой вообще не возник СССР, а Империя продолжила счастливое существование. И, кстати, для создания всего этого многообразия альтернативных реальностей не понадобилось ни одного «попаданца»!

УДК 82-344
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00155-072-3

© Дивов О. И., 2019
© Махров, 2019

Содержание

Дмитрий Володихин	6
1	6
2	7
3	8
4	9
5	11
6	13
7	14
8	16
9	17
10	25
11	28
12	30
13	31
14	32
15	34
16	35
17	37
18	38
19	39
20	41
21	44
22	45
23	47
24	48
25	49
26	50
27	52
28	53
29	55
30	57
31	60
32	64
33	65
34	67
Олег Дивов	68
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Поворот рек истории. Сборник рассказов

Составители сборника: Дмитрий Володихин, Сергей Четшаев

- © Володихин Д.М., 2019
- © Дивов О.И., 2019
- © Ветлугина А.М., 2019
- © Максименко Д.М., 2019
- © Больных А.Г., 2019
- © Музафаров А.А., 2019
- © Федотов Д.С., 2019
- © Сизарев С.В., 2019
- © Беспалова Т.О., 2019
- © ООО «Яуза-Каталог», 2019

Дмитрий Володихин Ромейское море

1

«Как они называют этот благословенный остров, истинный рай земной? Воскресенским! А как назвал его настоящий первооткрыватель, имя коего, как видно, скоро сотрется из памяти людской? Эспаньола! В честь земли, принадлежащей благочестивой королеве Изабелле и ее нечестивцу-супругу. А как называют этот остров добрые христиане, чуждающиеся восточного еретичества и злых схизматиков? Доминиканой. Да, тоже в честь Воскресения Христова, но на древнем, славном языке подлинного просвещения, а не на варварской речи писцов... этого... смешно!.. царя?.. императора?.. Вот уж нет! Василевса ромеев?.. Августа московитов?..

Черт ногу сломит в пышной восточной титулатуре!

Московская империя все давит, все гребет под себя, все присваивает имени и власти царей, а мудрость и просвещение ровняет с землей. Что она такое воистину? Наказание Божье.

Но и Его же испытание, посланное истинным христианам, дабы закалить их, дабы отделить агнцев от козлиц.

И когда-нибудь перст Господень проведет последнюю черту на древнем, пожелтевшем пергамене с хроникой судеб Империи. Тогда люди правой веры и доброго закона своими руками уничтожат это зловонное драконье гнездо.

Может быть, при нашей жизни.

Может быть, совсем скоро придет время ниспровержения.

Может быть, оно уже пришло.

Мы не отвергнуты Богом! Наша ненависть свята. Сказано: «Дайте место гневу Божию...» Но, сдается мне, мы и есть искры гнева Божьего. Сдается мне, именно из нас разгорится очистительное пламя!»

2

«Все иное!

Семо – тако, овамо – другояко, нимало не похоже.

Тамо – дебрь хвойная, темная, камень-гранит мхами проржавелый, валуны, точно бы шляпки грибов-боровиков, из моря поднимающиеся, иван-да-марья цветет-колышется на вырубках, ведьмеди на речных перекатах порыкивают, лоси в чащобах пошумливают, на тепло – скудость, на свет – нищета.

Здесь же, в местах новых, царскими служилыми мореходами на краю земли для державы добытых, нету никакой хищной звери; собак и тех нет, опричь малого числа, коих завезли со старых земель; все цветет, и цветами твердь обильна, всюду теплынь да зной, у лазури морской песчаные каймы прибрежные – белые-белые, белей свечного огня. Света много, света – казна неисчерпаемая!

Токмо солнце тут и там ослепляющее, яко серебро чистое, разве лишь в русских краях скупое, а в земле Святого Воскресения – щедрое.

Ежели войти в воды окиянстии, ко чреслам твоим и к тулову подступит волна, ласковая, яко котик домашний, теплая, яко уголь очажная, до конца не простывшая, но и ярость огненную уже покинувшая, жирная, яко молоко парное, едва-едва кравицу-кормилицу покинувшее.

Нежны в сих местах волны Ромейского моря, от Геркулесовых столпов до нашего благо-словенного острова простершиеся!

Родное-то море водами своими инако человека принимает. О, море Студеное, море дышащее! Хладны и сердиты волны твои от острога Кольского до славной обители Соловецкой! Ты – измена лютая! Кто в хляби твои не хаживал, тот Бога не маливал... Инде рыбалям, а инде кто на промысел пошел на весновальной за зверью морской, а инде кто зуб морской добывает, Богом попущено будет в волны окунуться, из тех, может, двое с полудюжины жизнь уберегут, иных же заберет стылая бездна.

А тут – радость и послабление великое и рыбарю, и кормщику, и стратиоту морскому. Плавай, ныряй, да хоть день-деньской по самые очи в воде сиди, а не успеет море ничтоже противу тебя, но едино от него услаждение. И птицы великие над тобой парят, обликом яко ящеры древние, но не истинные драконы, а твари Божьи нравом тихие.

Иные же птицы повсюду сладостно поют, якобы Творцу хвалебное пение вознося – и у самого моря, и в лесах, и на горах, и среди садов. Поют по всякий день, и како сердцу не возвеселиться от их гомона, щобота, свиста, теньканья и разного инакого благоуханного звукоизвлечения?!

Вот стоишь ты в водах, на двадесять шагов от берега отойдя, море бьет тебя в грудь, кружева кругом тебя вскипают, но крепость твою волна преодолеть не может. Гневается море, под ноги тебе белые палочки и кругляши бросает, древними буквицами испещренные. И каких народов писцы сии буквицы подписали, ведает один Бог. Может, нефелимы, может, рефаимы, может, каиниты... А иные говорят – атлантосы, за великую гордыню на окиянстем дне погребенные.

Сколько морей видел ты на веку своем нескончаемом? Свое Студеное море, затем Понт Эвксинский, инде Херсон-град стоит великий, святынями украшенный, в битвах с ордою едва сбереженный, еще Пропонтиду, за нею Твердиземное море да здешнее великое Ромейское море... А к чему сердце прикипело? Ко замшелым валунам соловецким, издавна душе твоей любезным. Увидеть бы их перед скончанием земного срока хоть одним глазочком...

Но предивна земля Воскресенская! Предивен мир Божий! Предивно творение Царя Небесного!

Славен Господь! Благодарение Ему сердечное за все на свете».

3

Море Ромейское у земли Святого Воскресения играет россыпями драгоценных эмалей: вот, у самого борта, эмаль берилловая, рядом уже аквамариновая, растворяющаяся в чистой лазури. Поодаль – темная эмаль сапфировая. А к берегу прикипает эмаль аметистовая, облагороженная царственным пурпуром.

И служилые царские навтис, всяких красот повидавшие в своих странствиях, заворожено смотрят в воды Ойкумены Эсхаты, неложного края мира. Очарование ее вливается в задубевшие, просоленные сердца хмельным потоком.

Тяжелый имперский дромон приближается к Воскресенской гавани. Бомбарды с берега приветствуют его залпами. Трепещет по ветру багряный стяг с золотым двуглавым орлом и коронованным львом, вставшим на задние лапы. Небо глядит на державных зверей очами любознательной девственницы.

На носу дромона, у резной фигуры святого Пантелеймона, стоит высокий смуглый грек – государев думный дворянин Феодор Апокавк.

4

«Будь внимателен. Смотри во все глаза, слушай во все уши. Вбирай новый мир умом и сердцем, преврати его в слова, и время путешествия не будет растрачено напрасно. Вернешься и подаришь миру перипл философа...

Вон там... в том месте, где большая река соединяется с морским заливом, стоит крепость с зубчатыми стенами. Смотровая башня высокая. Бойниц для лучников и пищальников в достатке, для бомбард же их маловато: вероятно, на сильного врага здесь не рассчитывают...

Запомнить.

А вот в волнах морских, отойдя шагов на двадцать от берега, стоит седовласый старик. Смотри-ка, машет рукой... приветливо. Кожа смуглая, но не коричневая, а серая, оловянная. Лицо грубое, ветрами исклеванное – словно у моряка или рыбака. Борода длинная, праотеческая, конец в воде скрыт. И... настоящий медведь: высокий, плечистый, мышцы не одряблевшие, а живые, под кожей перекачиваются, словно песок в пустыне под сильным ветром. Лоб высокий, рвами поперечных морщин тяжело распаханный...

Кто такой богатырь сей древний? Запомнить, впоследствии расспросить.

Дромон не входит в устье реки, хотя мог бы: спокойно, точно – на веслах, коих варварские корабли готов и франков не имеют... Впрочем, это его единственное преимущество. Конечно, в эгейском Архипелаге, с его тьмочисленными островами и изрезанной береговой линией, в Пропонтиде, на Босфоре, да и вообще меж берегов Средиземного моря дромон хорош: мелко сидит в воде, быстро поворачивается, набор тела корабля – легкий... Но для великого моря, что простерлось за Геркулесовыми столбами, это не корабль. Сильные волны могут разбить его в гибельном месте, где берега не видно ни с одной стороны, и отважные навтис погибнут. Конечно, эта, последняя версия дромона – более продуманное технэ. Парусов больше, набор мощнее, сам корабль – больше старинных. Однако бомбард на него много не взгромоздишь. И ход под парусами, как ни крути, – тихий. Следуя ученью логики, надо признать, что для океанских просторов всякое улучшение дромона станет углублением тупика. Дромон для дальних морских походов, как говорят русские, бесприбылен. «Прибыльнее» корабли западных варваров: каравеллы, каракки, галеоны. Но здесь, в самой заокеанской феме Святого Воскресения, стратегу уместно было бы обзавестись собственным корабельным строением, да и строить не только посудины по варварскому обычаю, но и дромоны, триремы, может быть, пентеры. Здешняя часть моря, судя по чертежам, присланным в Приказ морских дел, изобилует островами, островками, островочками и мелями. Ergo, гребные суда, по самой природе своей не плавающие весьма далеко, но используемые в условиях, близких к тем, что обнаруживаются в Архипелаге, могут принести здесь пользу.

Запомнить.

Сообщить в Приказ. Дать совет стратегу, и да поможет ему Господь!

Когда тебя со всех сторон обвиняют в том, что ум твой легок, ты учишься доказывать делами, а не словами, что в действительности он не легкий, а быстрый. Глубины же в нем хватает...

Ты почитаешь святого Григория Паламу и учение об исихии, но натура твоя, скорая на всякое движение, к медленному аскетическому деланию не приспособлена. И, шествуя путем логики, ты понимаешь, что сияющих божественных энергий тебе не увидеть... Но ты способен приносить пользу в делах философических, технических и политических.

Поэтому не давай уму лениться! Работай им, как добрый хлебопек и лукавый трапезит работают руками. Вбирай, запоминай, обдумывай.

Вот горсть домов близ крепости. Какие дома? Добротные, большие, деревянные либо сложенные из желтого ракушечника, со временем сереющего. Иные же – из плинфы, лучшего

строительного материала, какой ты знаешь по всем большим полисам Империи: по великому столичному граду Москве, по Киеву, по Полоцку, по Солуни, по Константинополю, по Никее, Антиохии, Иерусалиму и Риму. Окна широко растесаны, это окна мирного города, который не боится врага. Почему? Были же доклады: на острове живет некий тайный народ тайно – дикий, сердитый. Так отчего же крепость слаба, а горожане нападения не боятся?

Расспросить. Уяснить.

Тем более что истинная причина твоего здесь появления должна иметь прикровенный вид. Для всех, ну, почти для всех, ты здесь с проверкой по ведомству логофета дрома, по делам о церковном строительстве... И только для русского митрополита-навтис ты – носитель дела мистического и страшного. Из конца в конец Империи считанные единицы вообще способны понять его суть... Любопытно, поймет ли митрополит-навтис? Впрочем, какие из русских навтис...

5

Как только дромон застыл у пристани, Апокавк шагнул на сходни. В сей же миг вниз неторопливо пополз малый стяг с образом святых Бориса и Глеба, соседствовавший с орлинольвиным знаменем царского флота и означавший пребывание на борту государева служильца думного чина с полномочиями патрикия Империи.

Над рекою царило невысокое всхолмие. Оттуда к причалу устремились два всадника на дорогих конях и в одеждах, расшитых золотом. За ними едва поспевала вооруженная свита. Начав с тихого шага, они постепенно ускорялись, перешли на рысь, а потом поскакали во весь мах.

Апокавк с удивлением увидел, что всадники соревнуются и ни один не желает уступить другому первенство. Каждый искал добраться до царского посланца первым.

Один из них, рослый, широкий в плечах, с густой окладистой бородой, при длинном прямом мече, с золотой номисмой, пожалованной когда-то за отвагу в бою и пришитой к шапке, обличьем напоминал русского боярина... ну или чуть-чуть пониже чином, нежели целый боярин. Второй – сухой, жилистый, высоколобый, голобородый коротышка с трапезундской вышивкой, змеившейся по одежде, и легкой саблей, эфес которой отделан был бирюзой. Этот явно происходил из восточных фем.

Русский сердито оглядывался на своего спутника, немо призывая того сдерживать коня. Но тот остановил огромного вороного жеребца, дав русскому всаднику опередить себя всего лишь на шаг или меньше шага. Оба спешили одновременно.

Бородатый подошел к Апокавку и молча смерил взглядом. Бог весть, кому, по чести, первым следовало начать приветствие. Апокавка послали сюда по воле самого государя и Боярской думы; но перед ним стоял, по всей видимости, стратиг острова. Точнее, стратиг всего Нового Света. С ним не следовало бы ссориться, ведь тайные дела под шум ссоры вершить неудобно...

Грек отдал легкий поклон.

Русский вежливо ответил тем же, сняв шапку. Апокавк узрел макушку, выбритую, по обычаю московской знати, до синевы.

Спутник бородача поклонился с горячностью и улыбнулся гостю.

– Я, патрикий Империи, думный дворянин Феодор Апокавк, послан сюда с указом проверить расход царских денег на строительство храмов Божьих. Вот грамота государева...

Его собеседник принял свиток из рук Апокавка и молча передал человеку из свиты в одежде нотариуса... или... как их зовут русские? Неподъемное слово под... подячегос... подячий.

– Я стратиг Воскресенской фемы князь Глеб Авванезыч Белозерский. – Должно быть, отчество князь поименовал как-то иначе, но Апокавк полжизни потратил на то, чтобы различать русские отчества, однако понимал их со второго на третье, не чаще. – Рад принять тебя, патрикий.

И князь не то чтобы поклонился имени василевса, нет, он лишь слегка наклонил голову.

Затем стратиг вновь разомкнул уста ради торжественного вопрошания:

– Здрав ли великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич?

– Божьей милостью здрав, – отвечивал грек.

– Здрава ли драгоценная супруга его Софья Фоминична?

– Бог милует ее, хвори никакой нет.

– Здравы ли чада и племенники великого государя?

– В Божьей руке здравы и во всем благополучны, – привычно проговорил грек необходимые слова.

– Ну, славен Господь! – завершил Глеб Белозерский. – А это, – указал он на низкорослого, – мой главный помощник, воинский голова над конными людьми, то бишь турмарх. И зовут его Варда Ховра.

– Вардан Гаврас, мой господин... – с задором поправил его спутник «Армении», – отметил про себя Апокавк.

– И второй мой помощник, – продолжил стратиг, не обратив на Ховру внимания, – Крестофор Колун, друнгарий.

Из свиты шагнул вперед человек с исключительной белизной лица и жесткой складкой губ. Волосы – рыжина с проседью, нос тонкий, орлиный. Снял шляпу с пером, отдал низкий поклон.

«Венет? Флорентиец? Анконец? Что-нибудь такое».

Друнгарий, уловив гадательный взгляд Апокавка, с усмешкою пояснил:

– Сын благородной Генуи.

«Угадлив...»

Через свиту стратига протолкнулся длиннобородый старик – тот самый, медведеподобный, с лицом, огрубевшим от морских ветров. Голый по пояс, мускулистый, доброглазый.

– Что стоишь, чадо? Иди-ка под благословение.

Апокавк с ужасом отшатнулся от него. Это еще кто? Вернее, что за чудище из вод морских?! Руки – крючья корабельные!

– А это владыка Герман, митрополит Воскресенский и всяя Ромейского моря, – пояснил князь. – Тебе к нему.

Тогда грек с робостью принял благословение, а потом и медвежье объятие.

«Весь живот намочил мне своей бородищей...»

6

Последним, когда князя со свитой, митрополита и патрикия уже и след простыл, сошел с корабля человек неприметный. Не слишком высокий, но и не слишком низкий, не слишком смуглый, но и не белолицый, с волосами не слишком длинными, но и не бритый наголо. Не толстяк, но и не человек-веревка. В опрятном одеянии темных тонов, притом не особенно богатым, но и не в рубище, не в дранине. На плече он нес сумку странствующего богомольца.

Завтра, в полуденный час, он как бы случайно встретится с Апокавком на площади перед собором Воскресения Христова.

Быть может, в его услугах не будет надобности. Но думный дворянин все же велел ему сопровождать себя. На всякий случай. В дальних путешествиях может произойти что угодно, и надо быть готовым.

Когда-то давно умным человеком сказано: «Если ты находишься во враждебной стране, пусть у тебя будет много верных и расторопных разведчиков, которых мы, ромеи, называем хонсариями, так как через них ты должен узнавать о силе врага и о его хитростях. Без разведчиков невозможно нести службу». А уж какую страну считать враждебной и опасной, определяет начальство.

Что ж, ему дальние путешествия не в тягость. Даже если не придется работать, жалование начисляется исправно...

7

– Чадо, чадо! Зачем понадобилось тебе Христа срамить пред народцем малых сих? Не был бы ты, аколуж дружины каталонской, в папезской вере, посадил бы тебя на такую епитимью, чтобы только искры из глаз сыпались! Однако ж и так не минует тебя чаша наказания и покаяния. Вот тебе грамотка от меня. Отнеси ее вашему папезскому пресвитеру Пасхалию и ведай, что простираю смиренное мое к нему моление, дабы прописал тебе почтенный Пасхалий ижицу, ять, юсы и еры, да и великогордую выю твою смирил... Так, чтоб из недр твоих вой и стенание доносились! А я потом проверю.

– За что, владыкко? – мрачно поинтересовался аколуж, не отрывая взгляда от пола.

– За что? За что?! – не на шутку рассерчал Герман. – Кто людишек местных пограбил со своими жеронскими вояками? Кто скотинку поотбирал? Кто рыбаца вяленого посыпал в мешки да унес? Не ты? Дак двое уже князцов народа таинского со жалобами приходили и плачем многим. «Оборони, владыкко! Мы твоего большого белого Бога вместо отеческих приняли, а вы нас – однояко грабить?!» Вопрошаю: «Кто?» Они же: «Рамон! Рамон! Вот каков злодей! У-у-у, каков злодей!»

Апокавк хотел бы уйти отсюда. Ссора главы всего местного православного духовенства и аколужа дружины каталонской набирала ход, грозя вот-вот сорваться на бешеный скак запряженных в колесницу ипподромных лошадей. И... Апокавк хотел бы остаться. Надо смотреть, надо видеть, надо понимать: кто тут сила, кто кому враг, кто для пользы царской прибыльнее, а от кого одна «поруха делу», как русские говорят. Герман, принимавший грека в своих невеликих деревянных хоромах – на Москве средние купчины в таких живут, – дал ему знак остаться.

И он остался, напустив на себя вид равнодушия к происходящему.

– Они – дикари, барбари. Они – живая добыча для благородного воителя, – отворотясь, заговорил аколуж. Звучал его голос надтреснуто, словно колокол, упавший с колокольни в пожарное время и с тех пор исполнившийся внутренних изъянов. Нет было в его звуке ярмомедной блистательной уверенности.

«Экий бочонок... Плечи разъехались, будто у древнего титана, а ростом не вышел. Рыжий, кряжистый, коротконогий бочонок», – лениво размышлял грек, твердо зная притом: сойдись они с этим бочонком в сражении, и быть ему от бочонка битым, хотя бы он, Апокавк, вышел с мечом, а противник его с голыми руками. Одним ударом кулака...

– Что мелешь, чадо бестолковое? – властно укорил Рамона владыка. – Кто мы тут? Добытки? Охотники на чужой товар и чужую снедь? Нет же! Мы – христоролюбивое воинство в крещаемой стране. Мы веру несем! Мы обращаем твоих, чекмарь, «барбари» не в рабов, а в полноправных ромеев, нашему царю служащих...

Герман отер пот со лба усталым движением. Собеседник его молчал, каменным держал простоватое свое лицо, двумя язвинами глубоких ранений отмеченное. Видно было: не в грехе упорствует, но сразу сдаваться не хочет. Мол, только бабы каются со слезами и рыданиями, всем напоказ...

«Каталонцы – нет народа упрямее... Но какие стратиоты!»

– Все князьям несправедно отобранное отдашь. И людям своим скажи, чтобы вернули. Пока – так. А в другой раз...

Владыка тяжело покачал головой.

«Так ли было при великих царях греческих, в ту пору, когда Константинополь именовали на Руси Царьградом, и был он, действительно, монархом среди прочих городов Ойкумены? Отчасти так. Отчасти. Рабству христианская вера – враг. Как может быть единоведец – рабом? Как может быть ромей рябом у ромея? Не сразу, с тяжким промедлением, но рабовладение все

же отступило. Но не у германцев, не у венетов и не у каталонцев... У них работорговые рынки не пустовали. Почему? Конечно, пока были вне Империи...»

– Феодор... Чадо... Али заснул?

Апокав встрепенулся: и впрямь, ток дум занес его в дальние края. Когда ушел аколупф? Давно ль?

– Я с тобой, владыко.

– То на добро. Сей же час кликну келейника своего, с молитвою потрапезуем. Чай, оголодал? Не обессудь, ядь принесут постную. Живу не по-боярски. Иначе тут нельзя... Кто в дебри, к народам, в поганстве коснеющим, несет веру Христову, тот должен быть чист и от горделивости, и от корысти.

8

«Всему виной этот проstack, русский lapot', пышно прозванный стратигом. Князь каких-то там belozer... belozers... в общем, terra incognita.

Не он эту землю отыскал в океанских водах, не он привел ее под высокую руку христиан. Отчего же правит – он?! Только лишь оттого, что Москва поставила его сюда на vоеvodstvo. И как правит?! Как! Глупее не придумаешь. Милуется с местными князьями, жалкий yasak взимает. Их бы вычистить как следует от всего ценного, а потом заставить до седьмого пота работать. Скажем, на рудник – пусть добывают золото и электрон! Пусть отнимают у земли местную разновидность бирюзы – не хуже азиатской! Да хотя бы на полях. Сколько здесь можно снять хлеба и иных, полезных для добрых христиан плодов природы?! Или же пускай ходят за скотом. Если завести из Старого Света хорошие породы, на этом можно поистине озолотиться! Только прежде надо заставить местную мыслящую скотину, безобразно скуластую, двигаться побыстрее, давать ей отдыху поменьше и кормить ее без роскошества.

Ужели хорошо, что они сами ведут свое хозяйство? Ужели выгодно позволять им ходить и работать с ужасающей медленностью – словно они живут под водой?! А если их на все нужды не хватит, что ж, разумно было бы завести крепких рабов-мавров...

Но разве когда-нибудь так будет?! Царь и его стратиг все играют, пытаясь уравнять дикарей-язычников с нормальными людьми. Дескать, когда-нибудь все они станут ромеями, так издревле пошло.

Чушь!

Бред!

Еретическое безумие!

Но как повернуть тут все на правильный путь, когда prince Glebus мешает смертно, а у него сила, а при нем еще этот полусумасшедший старик, главный ересиарх Germann, всему злу начальник? И даже если воодушевить на добрый заговор тех, кому дорога истинная вера, многие ли пойдут? Успокоились, приняли чужую власть как родную, покорились. Сам король Арагонский Фернандо принял их нечестивую ортодоксию. А ведь был гонителем еретиков, главой святого братства эрмандады и заботливым попечителем инквизиции!

Следует добавить жара в остывающие угли. Следует всколыхнуть умы.

Чем?

Чем?!»

9

...Стол наполнился яствами.

Помолившись, Герман благословил еду и питье, глянул на стоящие перед ним блюда с пренебрежением и велел садиться трапезовать.

– Отчего морщишься, владыко?

– Не моя еда! Сколь я здесь? Восемь лет – с тех пор, как первенькую церковочку основали, Успенскую... а все привыкнуть не могу. Словно бы я во сне заплутал. Мне бы груздочков. Мне бы рыжиков соленых, крепеньких да молоденьких, мне бы яблочек моченых да капусташки квашбной. Или бы огурчика ростовского малого да хрусткого – хошь свеженького, а хошь из бочки. Грешен! Люблю огурчики ростовские! Грешен паки и паки. Разве можно мертвецу по естве скучать? А я вот слабинку душевную даю.

– Мертвецу?

– А кому ж? Монашествую и, стало быть, для света белого да мира людского – мертвец. Апокавк подивился такому благочестию. Не игра ли? Но нет, не похоже, нет...

Перед ними стояли овощи многообразные, бобы тушеные, пироги, рыба вельможных размеров да соленые морские гады, коих Апокавк любил любовью крепкой и глубокой. Ради гостя Герман поставил и вино, по его словам, доставленное с Кипра. Но сам старец ни к вину, ни к рыбе ни разу не прикоснулся. Пока государев думный дворянин насыщал утробу, Герман отщипнул тут, отщипнул там, да и остался доволен.

Задав приличествующие архиерейскому сану разгонные вопросы, грек приступил к делу:

– Прошу не винить меня, я обязан был скрыть, что истинная причина моего посещения далека от той, которая...

– Знамо, – перебил его русский, – с простым делом такового, как ты, не пришлют.

«Все так, как и говорили о нем: владыка прям, но не прост».

– И-и... кир митрополит... прости. Прежде того, как о главном деле разговор у нас пойдет, не мог бы ты оказать милость несчастному глупому чужестранцу из Москвы?

– Изволь, чадо! Гость мой, что мне сделать для тебя?

– Бога ради, скажи мне, как правильно звучит отчество стратига Воскресенской фемы, князя Глеба?

– Чего ж проще! Вот тебе. – И Герман громко произнес: – Авванизьеч.

Нет, он точно сказал что-то иное! Апокавк знал русские отчества: Александрович, может быть? Или Иоаннович? Что-то такое... Алексеевич? Точно нет. Авраамович? Аввакумович? Ну почему русские произносят их столь невнятно?!

– Благодарю тебя, владыко. Я услышал... и... понял.

Герман ему улыбнулся.

«Доволен, как видно, что угодил гостю...»

– Итак, речь идет об одной вещи, кир митрополит, которую ты увез с собой из божественного Константинополя, когда отправлялся сюда, за море. Впрочем, тогда ты еще не знал, где окажешься.

Герман удивленно повел плечами.

– Что за вещь? Со мной было все самое простое: платья немного, обычного и теплого, обутка, одеяние архиерейское да сосуды богослужебные. Сверх того крест наперсной да панагия, да антиминсы, да книги церковные, дабы, ежели храм какой-нито поставим, как и вышло впоследствии, не оставался бы он без молитвы и без пения.

Грек заговорил осторожно:

– Да, книги... Но не все они были церковные... одна из них, подарок, оказалась здесь с тобою, поскольку душа твоя потребовала услаждения.

– Что такое? – недоумевал Герман.

«Пропала? – насторожился Апокавк. – Вот еще беды не хватало».

– Твой добрый друг, владыко, иеродьякон Елевферий...

– О, Алфер? Помню его! Вот кто был истинно книжен! Из его рук виноградом словесным я вдоволь насытился! Вот кто душа совиная, борзого смысла полна!

И Апокавк услышал от Германа то, о чем в деталях знал и без его словес, за исключением разве что неких незначительных деталей.

О том, например, как Герман, простой инок Соловецкой морской обители (даром, что один из ее основателей), вызван был в Новгород Великий, а оттуда в Москву, много учился и прошел поставление в иеромонахи ради некоего тайного дела, о котором ему даже в священническом сане ни полслова не сообщили. О том, как из Москвы отправился Герман через Херсон в Константинополь и принял там новую волну учения на свою седую грудь: сживал с отроками на одних скамьях в Магнавре и, уже уведомленный о грядущем путешествии, был, к собственному бесконечному удивлению, поднят из иеромонашеского сана до архиерейского. Если бы великий государь Иоанн Базилидес более доверял грекам, ничего подобного с Германом не произошло бы. Но когда император узнал о великом плавании, которое на дальнем рубеже Царства, в Испании, тамошние его подручники Фернандо с Изабеллою готовили за великое океан-море, то сейчас же осведомился: кто из коренных ромеев идет с испанцами для надзора? А кто у нас коренные ромеи? Греки да русские, армяне да болгары, в какой-то мере сирийцы, в какой-то мере сербы, но эти, последние, уже дальше, дальше... Уведав, что испанская венценосная чета поставила водителем корабельным какого-то Колона из хитрющих генуэзцев, а экзарх западных фем дал ему в провожатые арменина из боярского рода Гаврасов да грека Аргиропула, отличного морехода, царь немедленно потребовал заменить многоопытного эллина на двух русских: князя Глеба и другого навтис, обязательно, обязательно русского! А где его найти, природного русского навтис? Присоветовал ему владыка Новгородский старого монаха – святой жизни, по его словам, человека, полвека своего по нуждам обители плававшего по морям на малых лодках и великих лодиях.

Так Герман и отправился в эти места. Русский навтис, хе-хе...

А впрочем, Апокавк слушал почтительно, не прерывая владыку. Тот мог сказать нечто действительно важное – случайно проговорившись. И слушая его, грек боролся с теплым чувством, только мешавшим его работе: а ведь они учились в разное время, но в одном месте, месте поистине непревзойденном как оплот знаний.

О великая Магнавская школа, о, плещущий вином философии Пандидактерион! Разве не ты, старший среди схоласт Константинаполя, более всего украшаешь великий Второй Рим? Среди одряхлевших древних соборов, близ все еще блистательной Святой Софии, неподалеку от толпы дворцов, несколько запущенных ныне, ибо лишь один из них, Влахернский, занимает ныне стратиг невеликой фемы Цареградской, прочие же оставлены для памяти о благочестивых царях греческой старины... О великий сын эллинской мудрости, славься вечно!

Между тем Герман, кажется, и впрямь начал говорить о вещах интересных.

– По нраву ему пришлось рвение мое к наукам. А я и рад! До старости ветхой читать-писать едва выучился, да и помирать собрался, уже и причастился, и соборовался, и в дальний путь обрядился, лежу, своего часа жду во обители святого Антония Римлянина, что близ Великого Новагорода. А тут муж, ликом светлый, якобы ангел Господень, с посланием архиепископским меня из домовины выдернул, от хвори отлучил и новый путь дал... И сладостно мне стало прикасаться ко словесам отцев Церкви, богословов, светильников иночества древнего. Досель не книжен умом был, а отсель переменился. Ну и, грешным делом, ко писаниям о летах былых, о царях и святителях, о войнах и крещении языцев душою прикипел. Возлюбил летописи да хроники, хотя вовсе они не то чтение, что монаху подобает. Алферу-то моя страсть неофита в книжности на сердце легла. Указывал он мне хорошие книжицы, строжил,

что писаний много на свете, а не все божественныя суть, но давал редкие свитки из Магнаврской вивлиофики, где был книгохранителем. Вот, дал одну хронику пречудную, словно бы сказочную... Хронику небывших дел...

«Так-так. Значит, проведал!» – наострил уши Апокавк.

– А я ее никак не мог до конца одолеть. Уже и срок мне приспел в Хишпанею отплыть, а я все мусолю. Он и говорит мне, не яко наставник, а яко добрый товарищ мой: «Не возьму в толк, какие чудеса ты там обрел, давно всем хроника Никиты Хониата известна, а ты ею странно поражен. Но тебе, Германе, хронику сию могу отдать в твое путное шествие, ибо великий Магнавр имеет ее во множестве списков, и есть среди них поисправнее того, что тебе даден. Читай в свое удовольствие, архиерей свежевращенный»...

«Следовательно, тот, магнаврский библиотекарь не знал, не понял, в конце концов, не обратил внимания. Значит, не было злого умысла. Такое могло случиться. Сунул руку не в тот сундук, не углядели за ним... Надо бы проверить. Для порядка. Но истинного преступления чрез законы пока не видно».

– ...я и читал, угобжался. Дивного там много, не бывшего никогда...

– А с какого места, высокочтимый кир Герман, начинается в ней... дивное? – осторожно осведомился патрикий.

– Чего ж проще? Сам посмотри. Чай, за тем сюда, за три моря, и явился.

С этими словами Герман вышел из трапезной, побыл в соседнем покое время, надобное для того, чтобы дважды, не торопясь, прочитать «Отче наш», и, вернувшись, положил на стол книгу, оболоченную досками в коже с оттиснутым знаком – буквицей «Д»... Первой в имени Доброслава, писца одного из старинных полоцких князей.

«Она... Господи, она!» – затрепетал Апокавк, выкладывая на стол вторую книгу.

– Разгни, грек, воззри и отсель чти, – указал перстом Герман.

– А ты отсюда, владыко, – ответил патрикий, вынув закладку-кисточку.

«Так... Так... Так... Поход Мануила I Великого на турок, коих автор хроники по старинному обычаю именует персами... 1176 год от Рождества Христова, он же 6684 от Сотворения мира... Мириокефалон. Битва царя православного с султаном Кличестланом... Вот оно! Вот оно! Никакой ошибки!»

И он мысленно отметил обширный кусок, с которого начинались «небывшие дела»:

«Султан поспешил занять теснины, которые называются Иврицкими дефилеями и чрез которые должны были проходить ромеи по выходе из Мириокефала, и скрытно поставил здесь свои фаланги с тем, чтобы они напали на ромеев, как скоро те будут проходить. Это место есть продолговатая долина, идущая между высоких гор, которая на северной стороне мало-помалу понижается в виде холмов и перерезана широкими ущельями, а на другой стороне замыкается обрывистыми скалами и вся усеяна отдельными крутыми возвышениями.

Намереваясь идти такую дорогою, царь заранее не позаботился ни о чем, что могло бы облегчить для войска трудность пути; не освободился от большого обоза, не оставил в стороне повозок, на которых везлись стенобитные машины, и не попытался с легким отрядом выгнать наперед персов из этих обширных горных теснин и таким образом очистить для войска проход. Напротив, как шел он по равнинам, так вздумал пройти и этими теснинами, хотя пред этим слышал, а спустя немного и собственными глазами удостоверился, что варвары, заняв вершины гор, решились опорожнить все колчаны, выпустить все стрелы и употребить все средства, чтобы остановить ромеев и не дозволить им идти вперед. А вел царь фаланги – то было в месяце сентябре – в таком порядке. Впереди войска шли со своими отрядами два сына Константина Ангела, Иоанн и Андроник, а за ними следовали Константин Мавродука и Андроник Лапарда. Затем правое крыло занимал брат царской жены Балдуин, а левое Феодор Маврозом. Далее следовали обоз, войсковая прислуга, повозки с осадными машинами, потом сам царь со своим отборным отрядом, а позади всех начальник замыкающего полка Андроник Контосте-

фан. Когда войска вступили на трудную дорогу, полки сыновей Ангела, Мавродуки и Лапарды прошли благополучно, потому что пехота, бросившись вперед, опрокинула варваров, которые сражались, стоя на холмах, идущих от горы, и, обратив их в бегство, отбросила назад в гору.

Быть может, и следующие за ними войска прошли бы невредимо мимо персидских засад, если бы ромеи, тесно сомкнувшись, тотчас же последовали за идущими впереди войсками, нисколько не отделяясь от них и посредством стрелков отражая нападение налегающих на них персов. Но они не позаботились о неразрывной взаимной связи, а между тем персы, спустившись с высот на низ и с холмов в долины, большою массою напали на них, отважно вступили с ними в бой и, разорвав их ряды, обратили в бегство войско Балдуина, многих ранили и немало убили. Тогда Балдуин, видя, что его дела дурны и что его войска не в силах пробиться сквозь ряды врагов, теснимый отовсюду, взяв несколько всадников, врывается в персидские фаланги, но, окруженный врагами, он и сам был убит, и все бывшие с ним пали, совершив дела мужества и показав пример храбрости. Это еще более ободрило варваров, и они, заградив для ромеев все пути и став в тесный строй, не давали им прохода.

А ромеи, захваченные в тесном месте и перемешавшись между собою, не только не могли нанести врагам никакого вреда, но, загоразивая собою дорогу приходящим вновь, отнимали и у них возможность оказать им помощь. Поэтому враги легко умерщвляли их, а они не могли ни получить какое-либо вспоможение от задних полков и от самого царя, ни отступить, ни уклониться в сторону. Повозки, ехавшие посредине, отнимали всякую возможность возвратиться назад и перестроиться более выгодным образом, а войскам самодержца заграждали путь вперед, стоя против них, как стена. И вот падал вол от персидской стрелы, а подле него испускал дух и погонщик. Конь и всадник вместе низвергались на землю.

Лощины загромоздились трупами, и рощи наполнились телами падших. С шумом текли ручьи крови. Кровь мешалась с кровью, кровь людей – с кровью животных. Ужасны и выше всякого описания бедствия, постигшие здесь ромеев. Нельзя было ни идти вперед, ни возвратиться назад, потому что персы были и сзади, и заграждали путь спереди. Оттого ромеи, как стада овец в загонах, были убиваемы в этих теснинах.

И если в них было еще сколько-нибудь мужества, если осталась искра храбрости против врагов, то и она погасла и исчезла, и мужество совершенно оставило их, когда враги представили их взорам новый эпизод бедствия – воткнутую на копье голову Андроника Ватацы. То был племянник царю Мануилу, отправленный с войском, собранным в Пафлагонии и Понтийской Ираклии, против амасийских турков. Такие печальные вести и эти ужасные зрелища привели царя в смятение; видя выставленную напоказ голову племянника и чувствуя великость опасности, в которой находился, он было приуныл и, прикрывая печаль молчанием и изливая скорбь в глухих, как говорят, слезах, ожидал будущего и не знал, на что решиться. А шедшие впереди римские полки, пройдя невредимо эту опасную дорогу, остановились и окопались валом, заняв холм, на котором представлялось несколько безопаснее.

Между тем персы всячески старались одержать верх над полками, бывшими под начальством царя, рассчитывая легко разбить и остальные войска, когда будет побеждено войско главное и самое сильное. Так обыкновенно бывает и со змеею, у которой коль скоро разбита голова, то вместе с тем теряет жизнь и остальная часть тела, и с городом, потому что, когда покорен акрополь, то и остальной город, как будто бы весь был взят, испытывает самую жалкую участь.

Царь несколько раз пытался выбить варваров из тамошних теснин и употреблял много усилий, чтобы очистить проход своим воинам. Но видя, что его старания остаются без успеха и что он все равно погибнет, если останется на месте, так как персы, сражаясь сверху, постоянно оставались победителями, он бросается прямо на врагов с немногими бывшими при нем воинами, а всем прочим предоставляет спасать себя, как кто может. Варварская фаланга со всех сторон обхватила его, но он успел вырваться из нее, как из западни, покрытый многими ранами, которые нанесли ему окружающие его персы, поражая его мечами и железными пали-

цами. И до того он был изранен по всему телу, что в его щит вонзилось около тридцати стрел, жаждущих крови, а сам он не мог даже поправить спавшего с головы шлема. При всем том сам он сверх чаяния избежал варварских рук, сохраненный Богом, который и древле в день битвы прикрывал голову Давида, как говорит сам псалмолубец.

Прочие же римские полки страдали все более и более; они со всех сторон были поражены копьями с железными остриями, насквозь пронзаемы стрелами на близком расстоянии и при падении сами давили друг друга. Если некоторые и прошли невредимо это ущелье и разогнали стоявших тут персов, зато на дальнейшем пути, вступив в следующий овраг, они погибли от находившихся здесь врагов. Этот проход перерезан семью смежными ущельями, которые все похожи на рвы, и то немного расширяется, то опять сужается. И все эти ущелья тщательно охраняемы были приставленными к ним персами. Да и остальное пространство не было свободно от врагов, но все было наполнено ими.

Тут же случилось, что во время сражения подул ветер и, подняв с здешней песчаной почвы множество песка, с яростию бросал его на сражающихся... Где-то здесь начиналось небывшее, немислимое и невероятное, как определил Апокавк. Устремляясь друг против друга, войска сражались как бы в ночной битве и в совершенной темноте и наряду с врагами убивали и друзей. Нельзя было различить единоплеменника от иноплеменника. И как персы, так и ромеи в этой свалке обнажали мечи и против единокровных и убивали как врага всякого встречного, так что ущелья сделались одною могилою, смешанным кладбищем и общею последнею обителью и ромеев, и варваров, и лошадей, и быков, и ослов, носящих тяжести.

Ромеев, впрочем, пало более, чем врагов; особенно много погибло царских родственников, и притом знаменитейших.

Когда пыль улеглась и мгла рассеялась, увидели людей (какое ужасное событие и зрелище!), которые до пояса и шеи были завалены трупами, простирали с мольбами руки и жалобными телодвижениями и плачевными голосами звали проходящих на помощь, но не находили никого, кто бы помог им и спас их. Все, измеряя их страданиями свое собственное бедствие, бежали, так как в опасности жизни поневоле были безжалостны и старались, сколько можно скорее, спасти себя.

Между тем царь Мануил, подошедши под тень грушевого дерева, отдыхал от утомления и собирался с силами, не имея при себе ни щитоносца, ни копьеносца, ни телохранителя. Его увидел один воин из конного отряда из незнатных и простых ромеев и, сжалившись, добровольно, по своему усердию, подошел к нему, предложил, какие мог, услуги; надел ему как следует на голову шлем, склонившийся на сторону. Когда царь стоял, как мы сказали, под деревом, прибежал один перс и потащил его за собою, взяв за узду коня, так как не было никого, кто бы мог ему препятствовать. Но царь, ударив его по голове осколком копья, который оставался еще у него в руках, поверг его на землю. Спустя немного на него нападают другие персы, желая взять его живым, но и их царь легко обратил в бегство. Взяв у находившегося подле него всадника копье, он пронзил им одного из нападающих так, что тот лишился жизни, а сам всадник, обнажив меч, отрубил голову другому.

Затем около царя собралось десять других вооруженных ромеев, и он удалился отсюда, желая соединиться с полками, которые ушли вперед. Но когда он прошел небольшое пространство, враги опять стали заграждать ему дальнейший путь, а не менее того мешали идти и трупы павших, которые лежали под открытым небом грудями и заграждали собою дорогу.

С трудом пробравшись наконец сквозь неудобопроходимые места и переправившись через протекающую вблизи реку, причем в иных местах приходилось шагать и ехать по трупам, царь собрал и еще отряд сбежавшихся при виде его ромеев. В это-то время он своими глазами видел, как муж его племянницы, Иоанн Кантакузин, один бился со многими и мужественно нападал на них, как он кругом осматривался, не придет ли кто ему на помощь, и как, спустя немного, он пал и был ограблен, потому что никто не явился пособить ему. А убившие его

персы, лишь только увидели проходящего самодержца – так как он не мог скрыться, – соединившись в когорту, погнались за ним, как за богатую добычу, надеясь тотчас же или взять его в плен, или убить. Все они сидели на арабских конях и по виду были не из простых людей; у них было отличное оружие, и их лошади, кроме разной блестящей сбруи, имели на шеях уборы, сплетенные из конских волос, которые опускались довольно низко и были обвешаны звенящими колокольчиками.

Царь, воодушевив сердца окружавших его, легко отразил нападение врагов и затем продолжал понемногу подвигаться вперед, то пролагая себе дорогу по закону войны, то проезжая и без пролития крови мимо персов, которые непрерывно появлялись одни за другими, и все старались схватить его. Наконец он прибыл к полкам, которые прошли вперед и был принят с величайшей радостью и удовольствием, так как они более беспокоились о том, что не является он, чем печалились о себе. Но прежде чем он соединился с ними и когда был еще там, где, как я сказал, протекает река, он почувствовал жажду и приказал одному из бывших при нем, взяв сосуд, почерпнуть воды и принести пить. Хлебнув воды столько, что едва смочил небо во рту, он остальное вылил, потому что гортань неохотно принимала ее. Рассмотрев эту воду и заметив, что она смешана с кровью, царь заплакал и сказал, что, по несчастью, отведал христианской крови».

– А далее все иное, неведомое, и прямо во иных хрониках да летописях неписанное, множатся сказки. Начало же сему повороту – вот где...

Герман отчеркнул – от сих до сих.

Они положили две книги рядом... Внимательно вглядываясь, старались помыслить всю глубину отличия.

Там, где повествование доходило до прорыва царского полка через теснину, прорыва, стоившего тяжких потерь, слова сначала изменялись легко, неуловимо, а затем решительно расставались со всем прежним ходом «небывшей» истории, открывая для себя новую дорогу – привычную, понятную, всем известную... Слово это они прорывались сквозь ряды врагов, а не отчаявшиеся воины императора Мануила.

Где-то здесь, да-да, приблизительно здесь: «Царь несколько раз пытался выбить варваров из тамошних теснин и употреблял много усилий, чтобы очистить этот проход своим воинам. Тщетно. Видя, что его старания остаются без успеха и что он все равно погибнет, если останется на месте, так как персы, сражаясь сверху, постоянно оставались победителями, он бросается прямо на врагов с немногими бывшими при нем воинами, а всем прочим предоставляет спасать себя, как кто может. Был миг, когда, окруженный чужим воинством, он едва не погиб, но сумел вырваться из ловушки, как из западни, покрытый многими ранами, которые нанесли ему окружавшие его персы, поражая его мечами и железными палицами. Царь Мануил немедленно отправил гонца, ожидая помощи в сражении, которое уже почти было проиграно. И до того он был изранен по всему телу, что в его щит вонзилось около тридцати стрел, жаждущих крови, а сам он не мог даже поправить шлема, криво легшего на его голове. При всем том, сам он сверх чаяния избежал варварских рук, сохраненный Богом.

Прочие же римские полки страдали все более и более; они со всех сторон были поражены копьями с железными остриями, насквозь пронзаемы стрелами на близком расстоянии и при падении сами давили друг друга. Если некоторые и прошли невредимо это ущелье и разогнали стоявших тут персов, зато на дальнейшем пути, вступив в следующий овраг, они погибли от находившихся здесь врагов. Немногие прорвались до конца. Этот проход перерезан семью смежными ущельями, которые все похожи на рвы, и то немного расширяются, то опять сужаются. И все эти ущелья тщательно охраняемы были приставленными к ним персами. Да и остальное пространство не было свободно от врагов, но все было наполнено ими, особенно же их лучниками.

Тут же случилось, что во время сражения подул ветер и, подняв со здешней песчаной почвы множество песка, с яростию бросал его на сражающихся. Откуда взялась эта буря, никто понять не мог. Устремляясь друг против друга, войска сражались как бы в ночной битве и в совершенной темноте; наряду с врагами убивали и друзей. Нельзя было различить единоплеменника от иноплеменника. Вскоре, однако, выяснилось, что в клубах пыли к царю пришла долгожданная помощь. Гонец Мануйлов отыскал конное войско в две с половиной тысячи бойцов, не успевших к началу сражения. Именно от них взвилось облако пыли. Это сын царя, Алексей, сущий отрок, вел дружины русских городов Ростова и Суздаля, которые дал ему младший брат тестя, великий князь Северной Руси Всеволод. Алексей женился на дочери брата его Андрея, сурового правителя, хотя король франкский давал за Алексея свою дочь Анну. Теперь этот брак дал хорошие плоды. Недавно Всеволод счастливо подавил мятеж, возглавленный названными выше городами. Теперь, наказывая их воинских людей дальним походом, одновременно спасал своего великого родственника, царя Мануила. Вместе с мальчиком он отпустил своих бояр, они-то и были истинными предводителями ростовского и суздальского полков.

Русские конники, предводительствуемые боярами и отважным Алексеем, юные годы которого не препятствовали проявлению благородного мужества его натуры, бросились на варваров со спины. Те от неожиданности потеряли высокий дух, дарующий победу. Множество их погибло под мечами и топорами прибывшей части православного воинства. Другие бежали, оставив своих военачальников. Иные же простирали руки, моля о пощаде. Бог умерил гордость недавних победителей, сделав их побежденными. Один боярин суздальский – о великое и ужасающее горе! – храбро бившись, погиб от вражеской стрелы, поразившей его в горло. Однако его смерть уже не могла отнять у христиан победы.

Когда пыль улеглась и мгла рассеялась, стали видны груды мертвецов, главным образом, убитых варваров, в иных местах заполнившие глубокие места в ущельях на три-четыре локтя в высоту. Многие люди, до пояса и шеи заваленные трупами, молили освободить их, жалобными телодвижениями и плачевными голосами звали проходящих на помощь, но не находили никого, кто бы спас их, ибо сражение продолжалось. Воины Кличестлана, измеряя их страданиями свое собственное бедствие, бежали, так как в опасности жизни поневоле были безжалостны и старались, сколько можно скорее, спастись себя.

Между тем царь Мануил, подошедши под тень грушевого дерева, отдыхал от утомления, оплакивал горькую судьбу погибших воинов и собирался с силами, дабы в последнем порыве разгромить ту часть вражеских полков, которая еще сохраняла порядок. Ему подвели коня и помогли поправить шлем, съехавший на сторону Собрал рядом с собою двести или триста лучших греческих воинов, среди которых было множество царских родственников, добавив к ним столько же воинов русских, Мануил наконец решительно бросился на неприятельских щитоносцев, закрывавших собою султана Кличестлана от христианского натиска. Царь убил мечом одного щитоносца, но столь глубоко в тело убитого вошло лезвие, что клинок пришлось оставить. Другой перс, судя по одежде и оружию, знатный человек, пал от царского копья. Однако после этого в руке Мануила остался лишь обломок копья – такой силы он нанес удар. Когда царь подскакал к самому Кличестлану, султан предстал перед ним на отличном коне, в драгоценном доспехе и полный решимости защищаться. Но царь, ударив его по голове осколком копья, который оставался еще у него в руках, поверг его на землю. Так погиб величайший враг православного царства».

Русский и грек переговорили кратко о сути разночтения, убеждаясь, что оба имеют единое мнение и никакая мелочь мимо их рассуждений не прошла. Да, они ясно видели одно и то же. В одном списке хроники Империя потерпела поражение и, шатаясь, теряя кровь и силы, медленно побрела к окончательному падению. В другом – победила и расцвела, влив в свое тело юную русскую кровь.

– До сих пор не могу уразуметь, откуда и зачем пошла такая шутка. К чему она? Может, бавил себя сугубою игрою книжной человек?

Апокавк устало потер лоб:

– То не шутка и не игра, владыко. Из Полоцка, города, на злые чудеса богатого, пошло... там же философами из Академии ортодоксальной и разгадано. Это, кир Герман, свидетельство нашего небытия... – Увидев недоуменное выражение лица собеседника, грек оговорился:

– Вернее, неполного нашего бытия. Не больше и не меньше.

У входа в трапезную палату послышался шум. Что там такое? До слуха Апокавка доносятся отзвуки недовольного голоса... как будто... голос князя?.. мелодия раздражения... да, именно так, сердитость, едва ли не ярость... чей-то еще голос... шаги удаляющиеся... шаги приближающиеся, опять удаляющиеся...

Герман кликнул келейника.

– Кто там?

– Не ведаю, владыко...

– Разузнай вборзе.

Тот скрылся.

Герман обратился к Апокавку:

– Коли можешь досказать спешно, доскажи.

Грек на миг закрыл глаза. А когда открыл, из уст его полился хладно-железный голос. Такой, каким был бы голос пищального затвора, оживи он и превратись в гортань:

– Владыко, мы еще не живем, мы не родились, мы тени будущего, присутствующие в замысле Божьем. Господь мыслит нами, то есть царствами, городами и человеками; Господь перебирает нас, отыскивая лучший путь для сотворенного Им мира и Промысла Его от Творения до Страшного суда. Когда Он выберет, мы родимся, но, может быть, не в те годы и не в тех местах, как ныне. А пока в нашу родную тень иногда являются свидетельства о судьбах иных теней – люди, вещи, рукописи... – и там, быть может, нет и следа от Империи эллино-русской... Следуя науке логики, мы можем быть и ложным путем, мы, как бы прискорбно это ни звучало, можем быть вытеснены из замысла Господня, оказаться на положении тупика, ошибки. Представляешь ли, как это опасно? Мы просто рассеемся, словно туман...

10

Сей же час в палату влетел келейник.

– Владыко, там князь Глеб! Там...

– Не засти! – раздался голос воеводы. Стратиг встал у него за спиной и, храня на лице выражение сдержанной досады, отодвинул со своего пути. Ровно с тем вежеством отодвинул, чтобы движение его нельзя было назвать «отшвырнул».

– Прости, владыко, долгонько ожидали, что позовешь нас, и вот сами зашли.

Князь встал под благословение. За спиной у него усмехался аколуж, пожимал плечами Гаврас и в дверях с мрачным видом буравил грека взором генуэзец.

– Прости и ты, князь. Никто мне о тебе не доложил вовремя. Как видно, перестарались, желая сбересть покойность беседы моей со гостем московским. Нелепо вышло, назавтрее разъясню bestолковым, како следует тебя принимать.

Стратиг понимающе кивнул.

– Кстати о госте пришлось. Забираю его у тебя, владыко! Не погребуешь ли, высокий и ясный господин думный дворянин государев, – добавил он, обращаясь уже к Апокавку, – братчиною за одним столом со властишками дальней фемы, глуши и дебри заморской?

Патрикий очень хорошо понял: отказываться нельзя. Не слугу простого за ним послал стратиг и даже не аколужа или турмарха, а сам явился. Это почесть. Отводить ее – оскорбительно для всего фемного начальства. Как же не вовремя! Господи, за что испытываешь раба Твоего Феодора?

Поколебавшись, грек поклонился князю Глебу с невыносимым отчеством и ответил кротко:

– Как я могу отказать твоей милости? Рад буду с тобою хлеб разделить за одним столом. «Как же тебя по батюшке? Авванезыч? Авва-низьеч? Агамемноныч?»

Князь покачал головой с довольством и сделал простецкий жест человека власти: махнул Апокавку рукой, мол, давай за нами.

Нежданно владыка молвил:

– Оставь мне его ненадолго, княже. Со всяческим поспешением пошлю его в твой дом с келейником – не заблудится. Не обессудь, разговорец вышел у нас... непростой. Малой капли не хватает – договорить. Смиренно челом бью, и не задержу гостя напрасно.

Князь поморщился.

– Чело-ом бью... Шутить, владыко? Какие промеж нами челобитья? Вижу, у тебя дело, ин ладно, добеседуй, но без промедления. Авось догонит нас гость.

Стратиг вышел, а вместе с ним и вся его свита.

Герман заговорил так, что чувствовалось: он желает дать гостю мягкое увещание и, вместе с тем, еще сам не довершил размышлений о чудесах «небывших лет». Медленно, с великим тщанием подбирая слова, он претворял в улыбку и слова сердечный трепет, но еще не мысль, не систему, не логику. Кажется, старец думал сердцем, и сердце обгоняло ум, но ум уже привык следовать за сердцем и во всем подчиняться сердечным стягам, во всем идти под воинскими значками сердца.

– Подумай-ка, чадо... Сколько седатый твой собеседник по морю плавал... рукам по сию пору живется непривычно без мозолей от весел. И что ж видел? Во всем – воля Божья, и ничего без нее не совершается... Бывало, выйдешь на море в сойме или в карбасе, а то и в простой лодочке, сам еще млад, зук-зуйком, и как тебе обратно воротиться, когда ветра буйные и тобой владеют, и суденьшком твоим, и товарищами-братьями ватаги твоей? Кто бы ни был весельщиком, хотя бы и сущий богатырь, в морской науке навичный, а сила его силой ветра перебарывается. Не от весельщика жизнь твоя зависит, не от кормщика, а от ветров и вод. Вот как

у нас говорят? Шелонник – на море разбойник... очень трудный ветер. А сиверко – тож нелюбезный ветречок, просвистит каждую одежду, сколько бы ни было надето. Плынешь промеж луд и корг, яко промеж ребер моря, сквозь плоть водяную прозябших, и одно в голове: ох и увы, попал как рыбка в мережу, уже не выберешься. А море-то, море уже сколыбалось, взбелело, лютует! Душа в пятки уходит. Кого ж бояться? Волн? Ветрищ? Их ли молить о пощаде? Нет, нет. Бог ветрами верховодит, Бог един волнам приказы отдает. Бога бы побояться, Богу бы с любовью и опасением молитвы воссылать. Молишься, молишься, руки в морском труде напрягаешь, жилы рвешь, но еще и молишься, молишься... И вот уж море потишело, дал ему указ такой и память крепкую за печатями высший Государь его, Хозяин сущего. А ты чего, чадо, боишься? Ветров и волн, токмо не морских, а державных. И чему ж ты молишься? К уму и силе ты обращен человеческой, ни к чему более. Не бойся Богу довериться, Он к нам милостив, что решит, то нам и во благо. Не о том тревожишься. Бойся изгрешиться! А что держава пропадет или переменится, так на то нам Господь иную долю даст, еще нашей нынешней краше и замысловатее. Чай, без милости Его не останемся... Что твоя хроника? Малый ветер, его бы не скрывать, о нем бы соборне поразмыслить... Авось царство наше не силою тайной, а душою да верою опасность, ежели она есть, превозможет. А не превозможет, так все мы в руке не токмо царя земного, но и, допрежь того, в руке Царя небесного. От Него лиха не ждем, когда чисты, прямы и любовны, когда веры нашей не топчем, а возвышаем ее. Помысли, помысли, об угрозе ли беспокойство наше должно быть? Об тайном ли схоронении хроники баечной и нелеповидной? Не суетимся ли мы с нею беспутно? Помысли же!

«Как же быстро он схватил суть головоломки с хроникой из иной тени! – поразился патрикий. – Тайное схоронение! В двух словах передал все сокровенное, грозное, опасное и мною нимало не высказанное. Да, схоронить под надзором малой этерии мудрецов. Или же спалить! Спалить? Жалко... Но... Тайное схоронение, как это верно. Ум его силен и странен, не греческий ум».

Ох.

– Я твой смиренный слуга, владыко, и столь же смиренный раб Божий. Позволь ответить тебе недерзновенно, однако же и несогласно...

Герман кивнул.

– А что, если Господь Бог наш наблюдает за теньями миров в уме Своем и выбирает самый жизнеспособный из них? Разве не следует нам постоять за себя? Не позволить того, чтобы случился развал великого православного Царства?

Митрополит вздохнул и отвернулся. Голос его зазвучал глухо:

– Не смиренный, не слуга, не раб, и волю свою в руцы Божии не предавший, а надо бы... Эх, чадо, своеумец Феодор... Неужто Он не лучше нас ведает, что нам надобно по чести, по вере и по правде? И ведая, неужто Он этого нам милостиво не дает?

Апокавк не желал делать того, к чему вынуждали его слова Германа, поскольку русский был ему симпатичен. Дал же Бог повстречаться магнаврку с магнаврцем на краю света... Но ныне он, книжник Феодор, – патрикий Империи, служилец государев, и ему надо делать дело.

Грек поклонился Герману поясом, а затем сказал негромко, но твердо:

– Прошу тебя, владыко, отдай мне ядовитую хроникку. Не своей волей молю тебя об этом, но волей великого государя царя нашего, а сверх того волею великого господина патриарха... На то у меня грамоты с печатями и от одного, и от другого.

Митрополит печально улыбнулся:

– Отдал бы и так Суетно у нас выходит... о том обо всем поговорить бы как следует, да молебн бы отслужить Пречистой, да князю бы доложить, а ты – с места вскачь понесся... Не по-людски. Но ничего, ничего. Великому государю я не встречник и святейшему кир патриарху я не поперечник. И тебе подавно, чадо, не враг. Должно, сердце твое от страха воплем заходится: как бы скорее и вернее исполнить порученное дело... Оставь себе бумаги твои, ни

к чему они мне. Возьми книгу, спрячь, где пожелаешь, хоть с собой носи. И – конец венчает дело. Не так ли нас с тобой, чадо, премудрые наставники учили мудрости древних?

Герман улыбнулся светлее.

Апокавк в восторге бросился ему под благословение. Целуя старику руку, он услышал спокойное:

– Ну, ступай, веселись. Утром Бога возблагодаришь, а ныне возьми келейника и догоняй князя Глеба с присными. Ступай же!

Ушел грек.

Герман промолвил ему вослед:

– Мы слишком любим закон. Мы мало соблюдаем любовь...

11

...Когда шли вместе с Глебом Белозерским и его людьми в воеводский дом, Хроника была при нем, в сумке. Апокавк не мог с ней расстаться. Он был счастлив. Он все время ощущал сумку: не вывалилась ли?

Когда пили в палатах стратига, Хроника была при нем. Патрикий держал сумку при себе, даже когда над ним начали подшучивать: мол, вцепился... Он отвечал: важные государевы грамоты, не могу оставить. Гаврас смеялся, князь понимающе кивал, генуэзец смотрел изучающе, а каталонец без конца подливал. Ему привезли из-за моря хорошего вина, очень, очень хорошего вина – с родины. Грек пытался не захмелеть и был счастлив, чувствуя бедром острый угол дощатого переплета. Пока не захмелел, он вел себя как советовал один мудрый ромей старых времен: «Если ты грамматик или философ, старайся и видом, и речью, и поведением, и самими делами показать свои знания, чтобы твои занятия и размышления не остались втуне». Он риторствовал и философствовал... во всяком случае, на том отрезке пира, который остался в памяти.

Он был счастлив, когда отправился назад, в терем митрополичий, прижимая сумку к себе и чувствуя: Хроника – при нем. Рядом брел нотариус из русских и ратник из болгар. Оба сердились, что их послали сопровождать пьяного Апокавк в ночь-полночь, однако ворчать не решались. А грек все думал крамольное: что если и впрямь судьба Империи повернулась бы иначе, к вящей славе? Великий царь Мануил I разгромил бы турок сам, без русских... Или сын его, Алексей, не умер бы от болезни в отроческие годы... Какой бы, наверное, вышел из него сильный и отважный василевс! Ведь львенок от льва рожден и по природе своей львом должен сделаться. А Мануил – лев истинный! Последний лев среди царей из греков... Как писал о нем мудрый Иоанн Киннам? «Царь, приняв осанку героя выше всякого мужества... схватился с врагами и весьма многих из них поразил мечом, а прочих заставил обратиться в бегство». Лев! Может, Империя сохранила бы величие и без русских... Греки ныне не первенствуют нигде, разве среди купцов, богословов и в свободных искусствах. Много власти взяли русские, назвавшись и став истинными ромеями. Но как они в ромеев превратились? Дружины, пришедшие из пределов Руси, остались в царственном граде Константинополе. Остались при Мануиле: он опасался удара со стороны турок. Остались, когда Мануил умер, при Алексее, их даже стало больше. И они уже начали прибирать власть, расточаемую беспечными эллинами... А когда троюродный брат мальчика, Андроник Комнин, попытался совершить переворот и сделаться старшим правителем, то ли регентом при Алексее, то ли царем вместо Алексея, дружинники подняли его на копьё. Чуть погодя в Константинополь явился сам великий князь владимирский Всеволод и молвил тяжко: «Вам требуется регент? Я буду таковым при Алексее. Ныне беру на себя всю власть царскую». И вот Алексей умер... Не убит, не... хотя кто сейчас скажет наверняка? Больше трех веков прошло... Все полагают: умер, просто умер, да и все. Так вот, именно тогда Всеволод перестал быть великим князем, превратившись в императора ромеев. Первого императора из русских... Правда, надо отдать ему должное, он бил сынов Моамета – турок, бил и грязных нечестивцев-франков, легко отбрасывая их от Константинополя. О нем в старой русской летописи сказано: «Много мужествовав и дерзость имев, на бранех показал. Украшен всеми добрыми нравами. Злых казнил, а добромисленных миловал: князь бо не туне меч носит – в мечь злодеем, а в похвалу добро творящим. От имени его трепетали все страны... Всех, мысливших против него зло, вдал Бог под руку его, понеже не возносился, ни величался о себе, но на Бога возлагал всю свою надежду, и Бог покаряше под нозе его вся врагы его»... До чего же корявый язык! Да, велик Всеволод, но... он не эллин, он все же не эллин, нет... Не было в нем эллинского изящества. Вот император Мануил – истинный эллин, с каким величием умел он вести речь! Когда Мануила упрекнули в том, что скифы захватили большую крепость, он

сказал: «Пусть не буду я тот, кому свыше вручено владычество над ромеями, если скифы не понесут тотчас же должного наказания за свою дерзость».

Нет, Всеволод – не эллин...

Апокавк был счастлив, когда ратник звонко вскрикнул... и когда в собственной его голове выстрелила бомбарда... он все еще был счастлив, ведь Хроника оставалась при нем!

И даже под утро, крепко встряхиваемый келейником Германа, щекой вбирая в себя холод грязной лужи, думный дворянин Феодор Апокавк оставался счастливым...

Почему такая боль в макушке? А Хроника... Хроника... Вот сумка... где Хроника?!

Хроники нет. Ратник убит, в нем две ножевых раны. Нотарий едва жив, и в нем тоже две ножевых раны, но лезвийце, – короткое и тонкое, как у шила, – до сердца не дошло. Чуть-чуть не дошло.

Только тут счастье покинуло Апокавка.

Господи! Господи! За что Ты оставил меня?

12

...Дожидаемся князя. Ох, чадо, чадо неразумное! Отчего страшишься? Бог управит дела твои, как Ему благоугодно.

Что же мечешься ты? Что суетишься?

Зачем спрашиваешь поминутно, кто мог похитить? Неужто не понимаешь: кто дурной человек, тот и мог, вот и весь сказ. Дурного человека ищи, чего ж еще? Тут же просто, яко в загадочке детской: кто летом цветет, зимой греет, настанет весна – потечет слеза. Не разумеешь? Береза это. У страха глаза велики, уж больно трусит тебя. Ты прямо ума лишился, хотя ум в тебе многоочитый, яко хвост у птицы-павлина.

Так... так... Уже хорошо! Сам сообразил простое: кто нашу мирную беседу подслушал, тот и вор. Вот бы отдал ныне воришка книгу, простили бы его, да и делу конец...

Вот уже ты, чадо тараруйное, счет вести начинаешь, ох, ум твой проснулся, в дом свой вернулся, да больно легок он, истинно греческий поворотливый ум без дна, зато с парусом, от ветров, стало быть, всюду гоняемый. Ветрист ум твой...

Вот пальцы загибаешь... Князь вчера был... Был, как ему не быть, но он – истинный слуга государев, весь в деле, весь в службе, Богу раб неложный, царю – опора. К чему порочить ему Царство, таковую хронику на зло повернув? Отложиться от Царства задумал? Пустое. Разве не рек я тебе: Богу он раб неложный, вера на таковое дурно его не пустит. Сам его исповедую, сотониных посулов в нем не вижу.

И аколуп был, верно. Да, мне он претыкатель, спорщик, по вся дни норовит сгрубить. Но тако жену свою любит, что большей любви к супруге во всем свете не видано. А кто на великую любовь способен, тот великого злодеяния не совершит. Нет, нет, и думать негоже про сию псину бестолковую, но храбрую, что будто бы хозяина цапнуть норовит.

Великий друнгарий Крестофор? И он был тогда. В латинстве погряз, умышляет на веру нашу? Иное скажу: вот кто истинный мудрец, и от мудрости своей печален, яко в Священном Писании сказано. Великий человек! Вот кто умом средь нас глубок, и сей глубиною всех нас, грешных, превосходит! Како не утрашусь думать про него, что вор? Не желаю думать такового.

Ховра? Был, был... Стратигу враг, зол сын неприязнен? О-ох, душе моя, отойди от гнева! Неужто не видишь: друг он князю закадычный, во всем соперник, ибо нрав в нем кипячливый, но друг подлинный, а потому лиха против власти стратижьей не учинит. Добрый человек, благомысленный, хоть и воинского роду.

Кто ж книгу покрал? Да я все тебе сказал, чадо... Чего тут не понять?

Князю что в доклад от меня пошло? Книга важная украдена чьим-то злоумышлением, ничего иного не говорил: что за книга да какой в ней смысл упрятан. Или, вернее, бессмыслие... Вот и сам князюшка к нам идет, сейчас рассудит. Вонмем!

– Думному дворянину, патрикию Царства Феодору Апокавку даю власть расследовать дело допряма. Даю также людей, сколько понадобится, да право расспросные речи вести и записывать. Если же приведет Господь, то и пыточные речи... Всем велю помогать ему, как мне самому. Владыко, и ты, если понадобится, пособи. Теперь ступай, патрикий, ищи свою потерю.

– Нет, не тако... – покачал головой Герман. – Начнем с молебствия об устроении дел.

Вот, гляди, и князь согласен, что молебствие полезнее будет пропеть допрежь всякой мирской суеты... Оно вообще любой суеты полезнее.

13

«...Теперь у меня есть оружие, с помощью которого умный человек может всколыхнуть умы не только фемы, но и всей Империи. Да что там! Всей Ойкумены – вот излюбленное словечко высокопарных греков, на сей раз оно кстати! В умелых руках эта дивная хроника может стать Архимедовой точкой опоры: с ней весь мир нетрудно перевернуть! Должно быть, сам Господь или Дева Мария дали мне ее в руки: на, используй ради достижения истины и справедливости. Это ведь истинный меч света, дающий предприимчивому человеку шанс расколоть стены тьмы!

Нечестивое царство надо разрушить! И... пожалуй, его создателям следует отомстить. За святую истинную Римскую церковь. За обиды западных королей и вольных республик. За себя. Да-да! За себя...

Что я дал им? Землю, плодоносящую нескучно. Землю, недра которой отдают великие богатства: золото, серебро и электрон. Землю, заселенную крепкими людьми, из которых, сложись все иначе, вышли бы отличные слуги для христиан и, возможно, когда дикое племя сполна расплатилось бы собственным рабством за свет истинного просвещения, сами приобщились бы к доброй и правильной Христовой вере, а не к еретичеству Востока...

Я дал им целый мир.

А что они, устами своего и рукой царя, кажется, даже испражняющегося золотом, дали мне? Немного денег, поместье и дом в новой земле, мною же им дарованной! И еще дали пышный, но ни на что не годный титул «Покоритель великого океана».

Справедливо ли это? Справедливо ли это?!

Я должен быть стратигом фемы! Я, я, только я, и никто иной!

И тогда дела здесь пошли бы совсем иначе. Закон Империи, душаций, сковывающий, не имел бы тут неоторимой силы. Люди, которых доставляют сюда из Старого Света, были бы полны жизни, энергии, страстей. Они желали бы завоевать весь новый мир до последнего клочка суши, положить его под ноги Деве Марии, послужить Господу разящим оружием. Да, при этом все они захотели бы получать от земель и богатств, уготованных Небу, свою долю, и, может быть, долю изрядную. Но такова справедливая, законная плата за их отвагу, за их мечи, за их дерзость в исканиях и конкисте.

А что я вижу вместо этого? Сюсюканье с дикарями, да медленное, шаг за шагом, без порыва, без неустрашимой ярости, расширение пределов фемы.

Срам!

Недоумие!

Праздность!

Восток, правящий Западом».

14

«Вот еще лихо эллинское, без тебя забот нет! Кудрявенький, востроносенький, чернявенький, моложавенький, якобы не муж, но व्यонош, а волоса-то скоро уж седина тронет... Голову мне морочил-морочил своими проверками по ведомству логофета дрома, а сам явился за некой тайной книгой и книгу сию прошелкал, яко юнец желторотый... Патрикий Империи! Ритор без отдыху и сроку! Ботало коровье. Спасу нет от твоей болтовни. Кто? Когда? Чем подозрителен? Не мне ли за тебя корней дела о покраже доискиваться, друг любезный?

Сам! Своей головой!

Греки! Лукавы да трепливы. Мы, русские, яко древо Империи. Армяне – эти яко листва, от дикого жара полуденных стран древо защищающая. А греки... греки, они кто? Птицы пестроперые, сидят на ветвях древа и сладкие песни поют. Оно конечно, доброй песне и сердце радо. Только ни силы в сих сладкоголосых птицах нет, ни устойчивости. Затем и власти лишились. Какие из греков люди власти? Может, во времена стародавние, при великих царях... Да те времена давно миновали. Теперь власть – мы, Русь, корень Рюриков, боярами да крестьянами обросший. Не соваться бы грекам во власть... Но – ладно, раз великий государь повелел, значит, так ему, Ивану Васильевичу, заблагорассудилось. Ино послужим и с греком. Ничего. Как-нибудь».

– ...Нет, арменин мой не мог. Ховра – честен, даром что егозлив. Ни государя не продаст, ни доброго своего товарища. А что ко всякому состязанию приветен, так на то и воинский человек. Задор ему надобен. Нет, не думай, патрикий, о Ховре.

«Ну а на самом деле – кто? Остаются двое. Кто? Владыка, небось, уже понял... Зрит не на внешнее, видит скрытое... Только молчит, яко воды в рот набрав. Вот она, поморская повадка – молчаливая, каменная... Ино и без него управимся своим умишком скудным... Так кто? Кто власти супротивен, тот и от Бога отступник. Тогда... тогда...»

– Думаю на латинян. Из них более наказаний принял, нежели милостей, Рамон. Бешеная головушка! Упрямец таковой, что мало не бунтовщик. Может, озлобился... Но наверное не скажу. В своем деле Рамон справен. Да и человек прямой. Буен бывает, корыстен бывает, но не крив.

«Когда же ты оставишь меня в покое? Не о тебе голова болит, патрикий...»

– Послушай, честной господин, вот что я тебе скажу. Хоть ты и думный дворянин, а подолгу я с тобой сживать не буду и рассуждения рассуждать не стану. Мое воеводское дело – иное. Не о том у меня голова болит. Инде на островах, а инде на большом берегу мужики торговые пропадать стали. И не токмо что мужики торговые, но и люди. О прошлой седмице сын боярский Ондрюшка Тверитин в полном боевом доспехе сгинул и с ним два пищальника. А месяц тому с половиною служилый гречин в подьяческом чине да весельщик при нем на карбасе неведомо куда исчезли. Это я на первое тебе скажу. На второе, что и цельные суда который раз не возвращаются, и вести нет ни от кормщиков, ни от воинских голов, кои с ними в море ходили. На третье, что торговые люди мне вещи медяные приносили и казали – чудной работы, но тонкой. Местные-то мои тайны такого сработать не могут, не ведают подобного ремесла. Тут кто-то понавычистее работал. А напоследок добавлю: разных людишек на малых лодчонках дозорщики мои видели, и пускай издали видели, а говорят, мол, как бойцы сноровистые двигаются... Подбирается кто-то к нам тихохонько. Держава какая-то издали щупает, а я ее ущупать норовлю, и ущупаю, дай срок. Еще схватимся. Есть тут, по разговорам суда, поганское царство, в богатстве и многолюдстве утопающее, а может, и не одно. Нутром чую, скоро нам с ними переведаться предстоит. А мы? Град каменный один поставили, обострожились знатно еще в четырех местах... а надо бы – в десяти! Мне бы пищалей, бомбард, людей ратных, корабельных строителей да порохового зелья... А людей – мало, толковых

людей, почитай, раз, два и обчелся. И приходится мне, воеводе, наместнику, за десятерых дела делать. Яко наш великий князь, а вашим царям родич Владимир Мономах в старые времена говаривал: «Что надлежало делать отроку моему, то сам делал – на войне и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах заботился». Вот как живу, вот о чем думаю, а ты мне все про кто, да как, да куда, да что... Ищи сам. Тебе – помощь моя, но не время мое. Ступай.

15

В полдень на соборной площади стояла невыносимая жара. Казалось, воздух плавился. Плыли в неверном мареве очертания собора, выстроенного по владимирским образцам – в пятиглавии, только скромнее размером. Плыли линии окружающих домов. Окна позахлопывались, люди будто вымерли.

«В плохое время я сюда приплыл. Про такие времена писал император Лев Мудрый: «Стояние, когда уже не господствует мир, но война еще не проявилась с очевидностью». И правитель фемы вроде бы складно говорит, прямо по словам другого прославленного государя, притом полководца от Бога, Маврикия: «Стратиг, который стремится к миру, должен быть готовым к войне». Очень складно. Но...»

К Апокавку подошел путник в неприметном одеянии. Кто из местных жителей не побоялся убийственного зноя и вышел на улицу? И что ему надо от... О!., да это же...

– Если кто-нибудь за нами наблюдает, мой господин, он подумает, что я просто спрашиваю дорогу. Но я не могу делать это слишком долго.

Апокавок молчал, додумывая.

«Рамон и впрямь простоват. Не для таких мыслей крепкую его голову посадил на плечи Господь и не для таких дел нарастил на руках могучие мышцы. Чтобы, подслушивая нас, все разом ухватить и помыслить в самое малое время, иной нужен ум, куда как более изощренный, чем у простого вояки. Нет, аколупф простоват. А вот сам князь...»

Стратиги, архонты, дуксы имеют много власти... И, распознав ее вкус, поддаются соблазну: получить большее ее количество. Скольких стратигов сразило желание поднять мятеж и стать императором, либо отложиться от Империи, чтобы основать собственное маленькое царство?! Не перечить. А история и Священное Писание учат нас одному, хоть и разными словами: все уже было и все повторяется бесчисленное множество раз.

Князь Глеб худо помогает ему. Отчего же? Искренен в своей грубоватой русской манере? Отводит его, Апокавка, внимание от собственных темных дел – все ли у него, скажем, на месте в казне?! Впрочем, нет, слишком вычурный способ скрыть того, чего никто не ищет... Или же стратиг имеет тяжкий умысел против власти государя, а потому возжелал заполучить ядовитую Хронику да пустить ее в ход, смущая умы в своей феме?

Наконец он разомкнул уста:

– Мне нужны скверные слухи о стратиге фемы. Вор? Развратник? Мятежник? Отступник от веры? Только то, что может быть правдой.

Его собеседник кивнул в ответ.

Осталось назначить ему новую встречу в новом месте. Не столь неудачном, как это.

16

... Кажется, Апокавк начал привыкать к медвежьему объятию владыки. Ну, зверь лесной, ну, с бородищей, ну, с руками борца... зато получил превосходное образование.

Герман вновь почтил его трапезой и позволил обсуждать с собою дело о пропаже Хроники. А когда грек начал было излагать ему свое подозрение о скверных намерениях князя, с улыбкою отвечивал:

– Ведь это ваш, эллинский, мудрец советовал: «Если ты служишь василевсу, всячески остерегайся клеветы против тебя... Если же ты – первый человек василевса, смиряйся и не заносись, ибо слава и власть порождают завистников. Если случай заставит проявить власть, делай это с умеренностью и скромностью. Не завидуй, не таи зла против кого-либо. Все пути злопамятных – к смерти». Так вот, наш князь именно таков. Он трудится и не заносится. Сей земле вышла от Бога великая милость получить князя Глеба в управители. И ты, чадо, не балуйся, не клевети на него.

Патрикий, почуяв сладость винограда словесного, молвил не раздумывая:

– «Если ты служишь архонту, служи ему не как архонту или человеку, а как василевсу и как Богу. Если он невежествен и неспособен, а у тебя достаточно и знаний, и ума, и ловкости, не презирай его... Если ты служишь василевсу и занимаешь один из низших постов, изо всех сил сдерживай свой язык и подчиняйся стоящим выше». Оттуда же, владыко, но ты знаешь, ты это знаешь... Я не презираю архонта и сдерживаю язык. Но долг мой таков, что я следую за логикой. А логика может привести меня в тайные покои человеческого разума, где скрыты ужасающие пороки. Разве не может быть подобных тайных чертогов и у архонта?

Владыка нимало не расточил улыбки своей и покоя не утратил от его кусательных слов.

– Коли ищешь логики, что ж, обратимся к ней. Ответствуй-ка, чадо, боишься ли того, что тать злокозненный спалит Хронику небывших дел? Але же истребит ее иным способом?

– Чего тут бояться, тогда он просто сделает мою работу за меня. Не для того книга похищена, владыко.

Герман качнул головой в знак согласия.

– Имеешь опасение, что злодей, по грехом нашим, взбунтует фему?

– Имею, владыко. Как раз стратиг-то...

Митрополит перебил его:

– Кого же он предаст нечистоте мятежа, когда на острове книжных людей, даст Бог, с дюжину, прочие же простого ума служилыцы? Кто поймет сии хитросплетения?

Грек не ожидал такого поворота.

«А ведь и впрямь – кого тут поднимешь на восстание столь сложным способом? Это в Старом Свете к услугам безумца сейчас же явятся сладкоречивые риторы, славлюбивые проповедники, деньги врагов Империи и дурной нрав ее соседей. А здесь... бесполезно. Даже глупо. Следовательно, вор захочет переправить ее за море, в Европу. И, скорее всего, поплывет с ней сам, либо пошлет доверенного, нет, сверхдоверенного человека... Переправить в Старый Свет – это либо к купцам, либо в ведомство друнгария. Кстати, друнгарий у нас генуэзец... взять на заметку. А кто ведает таможней и отпускает купеческие суда? Власти градские, эпарх. Тут эпарх – тот же стратиг, то есть Глеб. И?»

– Владыко, запретит ли князь Глеб выход купеческих кораблей в порты Империи, пока идет мое расследование?

– На какое-то время, чадо.

«Ну да, торговля – кровь Царства, ее течение не остановишь в сосудах, иначе – смерть. Но в любом случае стратигу фемы ни к чему бунтовать иные фемы, ибо в том нет ему никакой пользы. Сам же он не отложится подобным образом от Империи... Итак, я почти уверен, что

это все-таки не Глеб. Но все наши соображения верны, если он умен. А если нет? И если он просто жаден? Приказал выкрасть дорогую вещицу, поняв, что она чего-то стоит».

– Думы твои о простом корыстолюбье? – угадал Герман.

Апокавк неприятно поразился. Неужто он столь открыт? Неужто его так легко прочитать? Казалось, он сидел с непроницаемым лицом...

– Оставь, чадо. Князь богаче всех в феме, к тому же нескудно жертвует на Церковь. Рассуди, станет ли он затевать безумное дело ради горсточки серебра? А горсточку такую много множество раз отдавал он мне просто так. Училище для отроков тайно я тут на его деньги строю, да и храм Святого Иоанна Лествичника – на его же. И много всего иного.

– Имеешь ли на кого-либо подозрение, владыко? Если не князь, то кто? Стратиг вот думает на каталонца...

Герман поморщился.

– Вижу в тебе знатного грамматика и умудренного в науках философа, чадо. Вот же тебе философия, авось она уму твоему поможет. Что такое Царство наше? Чаша великая, прочными стенами сокрывающая великую веру и великую любовь...

«...и великую культуру...» – мысленно добавил патрикий.

– ...и нет в Царстве никакого смысла без веры, и нет в вере никакого смысла без любви. Говорю тебе: полюби врагов твоих и тех, о ком думаешь: вот, быть может, они враги мои. Полюби любовью крепкой, яко у Иова ко Господу Богу, прости им всем, виновным и невиновным, без разбору, всякую скверну. И тако среди прощенных будет и вор. Пока не полюбишь, не поймешь их, пока не простишь, не уразумеешь, что все разыскание твое ниже любви. От ума не иди, от всякой злобы и жесточи не иди, ничего не сыщешь. А хочешь сыскать, прости заранее того, кто виновен... молись о нем, о всяческом благе его, и сейчас же вор откроется.

Апокавк вздохнул тяжело. Старик когда-нибудь умрет, и его, наверное, причислят к лику святых. Но ему-то, думному дворянину, человеку иных занятий, службу надо справлять, и как тут без ума? Куда из ума-то выпрыгнуть? Особенно если ум, а не что-либо иное, столь высоко его и поднял... Ох, не туда зашла их беседа...

Герман, как видно, разгадав его тускнеющий взгляд, прервал течение своих словес и заговорил по-другому:

– А не надо тебе философии моей, тогда держи, чадо, крамольную грамотку, чти ее со вниманием. Увидишь ясно: не о князе тебе думать следует.

– Грамотку?

– Часа не минуло, как ее подбросили.

17

«Пастыр ложный! Имею ныне сокровище твое, древнюю хронику, и намерин дать всему свету и каждому человекос погнать сеи тайна. Да пошатнется твое богомергкое государство от правды! Да застонет вся твойяс богомергкая Церков от истина! Готовь себя. Никто не спасет тебя, никто не удержит основ твоего сатанинского царства от распада».

18

Владыка вывел Апокавка из палаты на крытую галерею и указал рукой вниз, в сад: «Смотри же, вон моя тайная разбойница гуляет».

Между деревьями ходила изящная птица серовато-желтой расцветки, с хохолком на голове. Обличьем – цапля, только тоньше телом и проворнее в движениях. То вышагивала важно, клювом подалбливая нечто отсель невидимое, то перебегала скорым скоком на новое место, и там вновь ход ее становился чинным.

Герман глядел на птицу умиленно.

– Какова красавица-лукавица? По всякий день в вечеру сюда приходит, людей не боится, а потому совсем не бережется... Хороша! Да тут все хорошо. Палку в землю воткни – и та зазеленеет, зацветет, плод даст. Вот как у нас на Соловках-Соловочках благословенных заведено? Хлеб не родится совсем, нимало. Тот хлеб ешь, каковой с матеры вывез, с какого-нито поморского торжища. Потому у нас рыбарь за ратая: море – наше поле, рыба – наш хлеб. А тут – царство изобилия. Иные говорят: если не здесь рай земной, то где ж еще? Я-то иначе думаю: был во времена Адамовы рай земной, да и нет его, и токмо Господь един ведает, когды рай по новой на нашей земле прозябнет... Может, прежде Калиписис сотворится, и придут к нам новая земля и новое небо.

Владыка задумчиво улыбнулся.

– Как туто все устроено? Все тут красно да хитро устроено и якобы с надсмешкою над нашим простым разумением человечьим. Вот ящерь большая серая, ягуана именем: мордою – злой бес, но тварь безобидная, смиренная и травоядная, вроде скотины домашней. Никого не укусит! Тихая совсем. Зеваает тако, что ждешь от нее: вот ужо бросится и ломоть от тебя отхватит... А она ко злу бесприбыльна, Богом же едино на удивление устроена да на посмех. Ворон местный – не яко ворон, но яко кот кричит. Дятел – уж совсем беззатейная вроде бы птичка – а туго дятел дзюбнет-дзюбнет, да и воспоеет диковинно. Попугаи – петухи пестрые, малого не хватает, чтобы закукарекали, завели, стало, песнь петушиную, а они тако вовсе не кричат. Никакого от них «кукареку» не дослышишься. А кричат они странновидно, иной раз – на человеческие голоса. Вот диво-то! Всякая тварь по-своему о Боге радуется, всякая тварь по-своему Бога хвалит. Всюду пестрота, щобот, свист, шелканье и переливы. Поневоле о том задумаешься, как Бог мудро и лепо все сотворил. Рая же... нет более.

Тут Герман испустил печальное вздыхание.

– Но таковые земли, яко благоуханная дебрь Соловецкая да здешний край, светом процветший... они... память людскую о пропавшем рае оживляют. Потому и даруются людям не просто так, а по вере и по трудам их в награду. Царство Небесное – с боем берется, с сокрушением души, топтанием воли своей и приданием себя всего, в цельности, в волю Божию. Тако же и до мест, кои суть напоминание о рае земном, добраться непросто – что до Соловочков милых, что до пестро изукрашенной земли Святого Воскресения. Но плыви со словами: «Святой Никола, обереги нас!» – и всюду достигнешь. Бог везде проведет. Без Бога – не до порога, а с Богом – хоть за море.

19

Чудилось Апокавку в Германе нечто древнее, ветхозаветное, Ноево и Авраамово, из тех времен, когда Бог спускался с небес к людям Своим, и Его слышали праотцы, судьи и цари, словом, пастыри человеков...

А ему требовалось что-нибудь попроще.

Итак, грамотка, митрополиту подброшенная...

Ясно, что писал ее непростой человек, отводя подозрение от себя и наводя его на другого. В злобной записке мысли хорошо образованного умника сочетаются с ошибками глупца и невежды. Значит, составлял ее именно умник. Хотел привести на след одного из двух подозреваемых латинян. Но сколь точно оценивал он ум следователя? Если злоумышленник считает его, Апокавка, дураком, значит, пытался и «отдать» ему дурака. Если видит в нем умного, следовательно, и выдает тоже умного... Головоломка со многими неизвестными. Ничего нельзя установить в точности, ясно только то, что автор – не простец и не невежда, а языки латинян для него родная стихия. Умный латинянин? Один из двух «сдает» второго? Или...

– Владыко... не мог ли князь наш...

Герман перебил его:

– Воевода знает свою русскую речь и вашу эллинскую. Ведает татарский по вершкам. Латыни же он не учен, во фряжском, готских и всяких немецких помнит слов по дюжине или менее того. О том ли искал вызнать, чадо?

– О том... – вздохнул патрикий. – А в каких языках силен Гаврас?

– Того не ведаю, чадо. Фряжский... как будто ему знаком... Также эллинский и русский. Конечно, родной, какие-нибудь еще полуденные...

Мог? Нельзя исключить. Князь – нет. Теперь точно – нет. Армении? Возможно, хотя мотивы неясны. Кто из латинян поумнее? Как будто Христофор.

– Прости, владыко, за настойчивость в вопрошании... Каков душою и умом каталонец?

Герман сделался мрачен и покачал головой без одобрения. Разговор самым очевидным образом не нравился ему. Однако, помолчав, он все же ответил.

– Питух, драчун, смельчак, простак, упрямец. Воинам своим он по нраву.

Еще бы! Дает им пограбить вволю... Так ли прост аколуп, имеющий под рукою несколько сотен бойцов? Да еще бойцов, может быть, лучших на всю фему? Рубака? Ветеран безо всякого вкуса к слову книжному? Или носит маску, да так ловко, что она приросла к лицу? Разузнать. Проверить.

Что получается в итоге? Более всех подозрителен друнгарий. И у него, кстати, все возможности вывезти хронику за море... Турмарх непонятен. Пока. Аколуп... Менее всего следует видеть злодея именно в нем, но окончательно снимать подозрение рано.

«Были бы мы в Москве... Нет, плохая мысль... А впрочем... Были бы мы в Москве, так я бы добился взятия под стражу всех троих, а уж когда человек в узилище, есть иные способы добиться от него правды. Им, способам этим, старая добрая логика годится в смиренные служанки. Но... во-первых, тут не Москва, тут край земли, Ойкумена Эсхата. Позволит ли стратиг действовать подобным образом? А хоть бы и позволил, все равно мысль дурная. Ведь мы – Империя, вера, свет... Не в нашем духе добиваться истины безбожным методом. Это скверно. Или все-таки...»

Герман, внимательно глядя ему в глаза и словно бы угадывая невысказанное, промолвил твердо:

– К чему я привести тебя хотел? О чем беседовал с тобой? Зачем тайную птицу показывал? На красоту я тебя наводил, на любовь, на веру. А у тебя в голове токмо сила телесная да сила умственная... Не туда идешь. Вернее, не так идешь. Что есть наша держава? Что есть

Царство наше? Крепкий доспех, надетый на тело Истины и от всякой беды Истину сберегающий. Но что драгоценнее – доспех этот или сама Истина? И что нам сохранять первее – Царство или ядрышко его живое, всему смысл придающее?

– И то, и другое, владыко.

– Хорошо бы. Да иной раз так не получается...

И Апокавк мысленно подчинился митрополиту. Хорошо. Пусть так! Обойдемся без узилища. Одной старой доброй логикой.

– Что же ты посоветуешь, владыко, истинного? На какое действие благословишь?

– Баял уже: молись за всех, кого подозреваешь, с особой силою. И Бог тебе поможет.

Апокавк молча встал, глубоко поклонился.

– Благодарю тебя, владыко, за науку...

А как еще ответить? Молиться за кого-нибудь – вообще дело доброе. Так что совет ему митрополит Герман дал хороший.

Только бесполезный.

– Пойдем-ка со мной, чадо. Покажу тебе еще кое-что.

20

К деревянным палатам митрополичьим примыкала деревянная же, но весьма обширная церковь. Срублена так, как любят русские: вокруг «старшей» главки вырос целый куст «младших», будто опять на пеньке, а колокольня – точь-в-точь сторожевая башня.

– Любимая моя церковочка. – Герман обернулся к нему, пешеходствуя с неторопливостью. – Николы, скоропомощника нашего.

Зайдя на крыльцо, митрополит погладил перила. У входа в храм, сонно прикрыв глаза, сидел большой белый кот с едва заметными рыжинками. Митрополит кивнул ему, как старому знакомому, и тот, кажется, тоже шевельнул головой в ответ. Мол, можешь пройти.

Внутри Никольского храма Германа ожидало тридцать или сорок полуголых тайно, мужчин и женщин, а с ними дюжина детишек. У каждого на шее крестик. Увидев митрополита, они заулыбались, залопотали по-своему, взрослые тихонько касались его одежды, мальчишки украдкой дотрагивались до его бороды, отдергивали руки и делали большие глаза. Новокрещены протягивали Герману спелые плоды, просились под благословение, он щедро благословлял и сам дарил им – кому образок, кому – иконку, а детям – пряники. И – улыбался в ответ.

На Германа посыпались вопросы, и Апокавк долго не мог понять ни слова. На каком языке они разговаривают? Лишь дав себе зарок непременно, хоть трава не расти, справиться с этим вызовом да напрягши все свои способности к пониманию чужих языков, он, наконец, кое в чем разобрался.

Под сводами храма звучала экзотическая смесь из речи самих тайно, русского, приправленного благородными шепотками эллинского, и слов поморского наречия, родного для Германа, но убийственно невнятного для ушей грека.

Потом молились вместе, по-славянски. Патрикий, худо понимая славянскую речь церковную – от простой русской она сильно отличалась, – кое-где тихонько переходил на греческий.

А после молебна тайно притихли на недолгое время и вдруг вместе загомонили об одном: как понял, не без труда, Апокавк, они жаловались, что их в столице оскорбляют, насмеваются, выставляют дрянным, бестолковым и грязным народцем. Говорят им, дескать: сколь вы ни старайтесь, а большой Бог Христос вас не примет, потому что вы немые твари, живете в сраме, закона не знаете, ума не имеете. Где вам с умными народами вровень быть!

Герман нахмурился. На лице у него появилось выражение досады, притом досады застарелой, давно покоя не дающей, как мозоль на ступне.

– Христос никого не оттолкнет, любого грешника примет. Вот были у Бога нашего ученики, с Ним ходили по свету, слушали Его. Одного ученика звали Петр. Ему видение божественное приспело: небо отверзлось... это так бают, когда небо до самой глубины открылось, якобы море дно свое показало... И вот с неба-то ему Господь наш спускается в виде платка льняного, чистого, белого. А в платке – куча всяких зверюшек, птичек, даже гады были ползучие, всякая тварь приятная и неприятная, чистая и нечистая...

– Это какая зверь нечистая? Кто такая? – спросил у Германа на чистом русском рослый человек с повадками вождя.

Был он одет в короткую юбку, татуирован с ног до головы, носил на шее ожерелье из золотых пластин и двойные бусы из морских раковин. Щеки, скулы и лоб его покрывали полосы, нанесенные черной, белой и красной красками. Полосы напоминали перья и делали вождя похожим на хищную птицу.

– А это вот, к примеру, ваш паук-птицеяд. Любите вы паука-птицеяда?

Тайно стали морщиться, надувать губы и гудеть, мол, нет, не любим, чего любить-то его? Скривился и вождь.

– А там, в платке, и он тоже был.

– К чему Богу такое... плохое... пакостня...

– Что Бог очистил, того никто нечистым почитать не должен. Тако и языцы мира: где бы кто ни жил, како бы ни выглядел, а коснулся его Бог, и вот он уже в чистом льняном платке сидит, и отсель скверны никоторой на нем нет. Вы вот кто такие? Чистые вы или нечистые?

– Сам скажи! – угрюмо бросил ему вождь.

– Что я тебе скажу? Ты сам ли не ведаешь? Бог всех вас коснулся крещением святым! Вы чисты, если токмо сами себя не испакостите грехами.

– А оне говорят, мы грязные, мы хуже. Мы – сквернота и худота...

– Врут! – с нажимом сказал Герман. – То лихие люди. Брехуны и наветчики!

Вождь с сомнением покачал головой. Апокавку показалось, что сейчас он разинет клюв и ушипнет Германа за плечо.

– То много-многие в обиду нам говорят. Много-многие.

– А вы чего слушаете? И уши развесили! То глупь и недомыслие, и злоба. Кто, ответь мне, тут у нас главный вождь?

– Гылеб самый сила...

– А он в жены дочь брата твоего старейшего взял. Неужто бы он взял себе нечистую супругу?

Вождь смутился, но пока молчал, не желая признавать свою неправоту прилюдно.

«Точь-в-точь каталонец!»

– А кто тут главный, когда надо Бога звать и про Бога говорить? Кто главный, когда надо злых духов гонять?

– Ты, выладыхо. Очень сила.

– А раз я главный, меня и слушайте! Что я говорю? Вы – такие же, как мы, Богом очищенные, народ светлый, добрый. Ежели кто полезет с дурными словесами, так и ответствуйте: нам владыка иное сказал, нам владыка правду раскрыл, а ты, такой-сякой, – дурак, что поносные словеса и клеветы несешь. Уразумели?

– Ему, такому-сякому, скажем, тебе скажем, а ты Гылебу скажешь, Гылеб нам – оборона.

– Добро. Будет вам оборона...

Таино заулыбались. Те, кто знал русский получше, передавали всем остальным суть дела. Наконец человек-хищная-птица сделал им какой-то жест, словно муху поймал прямо в воздухе. Таино с поклонами, крестясь, попятнулись к выходу из храма.

Вождь отдал Герману малый поклон – как человек власти другому человеку власти, превосходящему его, но не абсолютно. На прощание он сказал:

– Спаси тебе Бог, выладыхо.

Как только ни одного тайно не случилось в храме, Герман подозвал келейника.

– Нынче же передай князю на словах: деревню Заречную расселять надо, тамо новокрещенов моих родичи в старую веру сманивают. Мы их воцерковляем на воскресном служении раз в седмицу, а соседи с братьевьями и прочими племенниками все прочие дни обратно их вобесовляют. Пускай крещеных переселят к русским переселенцам. А в деревне Троицкой надобен служилец из старых детей боярских, кои к воинскому труду уже непригодны, – за нравами надзирать. Тамо священник стар и слаб, распустил свое стадце словесное. В прочих селеньях благополучно.

Едва закончил свою речь митрополит, келейник исчез, словно ветром сдуло. Герман устало присел на длинную лавку, тянущуюся по стене храма.

– Видишь, чадо, по-твоему поступаю: вдумываюсь и наказываю, но не ведаю, произойдет ли от суровых вразумлений польза... Они не просты, не глупы, не бесхитростны. И, понятно, не дети малые. Но хотел бы я с ними – яко с детьми. Было б проще...

– Как понял ты, владыко, все это?

– Да что понял, чадо?

– Скажем, про деревню Заречную?

Герман задумчиво огладил бороду. Молчал. Выглядел скверно. Впервые Апокавк почувствовал, что разговаривает с глубоким стариком: кожа дряблая, веки набрякли, темные мешки под глазами, а в самих глазах – бесконечное утомление.

– Я и не понимаю... нет... не так... вернее сказать, я не знаю, я чую. Они мне яко дети, хоть я им не отец нимало. А како чадушек своих не любить? Всех люблю. А потому к душам их прислушлив. Вот кто глядит тебе в очи, беседует с тобой, улыбается и сам тому рад, оттого радость его ко мне под ребра переселяется, от нее сердце инако стучит. Как такого не почуять? А другой, вроде уста распялил, хочет веселье свое показать, дружественность и приязнь, токмо в глазах – стынь, маета. Стало быть, не любит ничуть, стало быть, ненавидит меня. А отчего ненавидит, ведь я ему худого не делал? Я ему ласковые слова говорил, я ему подарки дарил, я вместе с ним Господу молился... Отчего же злоба? А злобится человек на человека, когда вину пред ним имеет, хотя бы и тайную... Да допрежь всего – тайную! Какие от меня вины? А такие, что врет мне в глаза. А о чем врет? Да о вере о своей, о ней же ныне разговор промеж нас. А кто врет? Да все больше из одной-единой деревни, из Заречья. Другие-то покойны. Вот и ясно: грызет их, зареченских, червяк древний, чрез родню клыками ядовитыми до них добираясь... Не ведаю, как тут не понять? Я вот понимаю не то, что про них, про чадушек своих, вызнал да обдумал, а то, како они со мной себя ведут и како у меня на душе от их поведенья содеивается – светлеет или темнеет? Вот вся моя наука. Пойдем, чадо, томно мне, надо б прилечь.

«Мне бы сердцем чують тех, кто со мною разговаривает... Ох, как пригодилось бы! Только сердце в таком случае живо о чужую грубую кожу источилось бы да на мелкую стружку ушло...»

Добравшись с владыкою до жилища его, Апокавк тотчас же получил бумагу от князя Глеба. Тот сообщал: двенадцать навтис поручились за своего начальника, генуэзца-друнгария, что чист он перед патрикием. Ничего, мол, не похищал, да и не мог похитить, ибо после братчины у стратига сразу же доставлен был на корабль, а там изрядно пил с ними, моряками, при том напоен был до бессловесности.

На затылье бумаги – двенадцать подписей или, как выражаются русские, «рукоприкладств». В смысле: заверяем, что все так и было, и в том руки свои прикладываем.

21

Монастырь Святой Троицы стоит посреди столицы фемы, в самом оживленном ее месте. Об одну сторону – торгов, о другую – палаты стратига, третья – глухая, стена в стену городских терм, перед четвертой простирается сад с питьевой цистерной. Человеку, в воинской науке несведущему, высокие эти плинфяные стены напомнят крепостные сооружения; но ничего истинно военного в них нет: высоки да тонки, зубцами изукрашены, да боевых площадок за ними нет. Стены защищают обитель не от вражеских воинов, а от кипящего мира.

Внутри – покой.

Однако мир время от времени посещает тихое обиталище черноризцев. Иногда он заходит через Царские врата из сада, иногда – через Митрополичьи врата со стороны палат, иногда – через малую калитку, принося с собой шум торгующих, а иногда через тайный ход, проложенный под термами. Если два человека желают, чтобы их встреча осталась незамеченной, о ней никто не будет знать, помимо разве одного лишь отца-настоятеля.

– ...Стратиг?

– На редкость чист. Не жесток. Не свиреп в сборе податей. Не труслив на войне. Не слаб в управительском искусстве. Не еретик и не отступник веры. Не сладострастник. Даже не вор, кажется, хотя этого до конца прознать нельзя...

– Но?

– Слабое место одно: Вардан Гаврас. Этот безобразничает с дамами из хороших родов и... всяких родов. Играет в зернь. Ставит на коней и на кулачных бойцов, а потому вечно в судебных тяжбах и вечно без денег. Князь покрывает его во всем по старому товариществу и по старым же военным заслугам турмарха. Из-за него терпит смех и поношения.

«Вечно без денег. Запомнить».

– Еще?

– Мелочь: стратиг взял в жены новокрещенку из рода князьцов тайно, от нее имеет четырех детей. Не все одобряют смешение крови с...

– Взял по закону?

– Да.

– Тогда – не то! Это не слабость. За такое награждают. Все?

Кивок.

– Отставить слухи, отставить сплетни. Отставить князя. Отставить старое обличье. Новое имя. Новая одежда. Ты – латинянин. Ты приплыл сюда за удачей, как и многие другие, но бес обвел тебя вокруг пальца, и удачи нет, как нет. Деньги ушли. Ты ищешь любую работу в ведомстве друнгария. Лучше всего, если это будет галеон «Пинта», старший среди здешних кораблей. Цель – сам друнгарий. Все о нем: вера, власть, деньги, слабости. Что думает о греках, что думает о русских. Но прежде всего – где он был и что делал в ночь похищения, после братз... братш... после пира у стратига. Это – на расходы. – В руку неприметного хонсария переместился мешочек со свежоотчеканенными серебряными милиарисиями и кератиями. «Великий муроль», литейщик и денежный мастер на службе у императора Иоанна, Аристотель Фиорванти, оставил на каждой монете отпечаток своей горделивости: имя «Ornistoteles».

Птичий философ. Аристотель окрыленный. Летучий мудрец, ничто его на одном месте не удержит...

Умная птичка – вовремя перелетела из Рима в Москву. Или из Милана? Должен бы помнить, но увы... Впрочем, какая разница. Мудрая Москва любит все лучшее, хорошо платит и снисходительно относится к слабостям полезных служилыцев.

22

...Князец таинский выглядел жутковато. Напялил личину глиняную белую, а на ней всего-то три коротких прямых черты: вместо рта и глаз. «Таковая у них маска гнева и власти», – объяснил Апокавку митрополит. Стояли сумерки, в палате княжеской грели три масляных светильника, отблески их пламени выплясывали на маске замысловатый танец. Поодаль стояли, склонив головы, четверо молодых туземцев в масках из плетеной травы.

Князец молчал.

Молчал он, когда Рамон в одиночку приволок громадный короб, наполненный таинским барахлом, награбленным в деревнях. Герман шепнул тогда патрикию на ухо: «Все сам решил сделать, людей своих не желает смущать и соромить». Молчал князец, когда аколүф грохнул короб об пол с такой силой, что оттуда вылетела пригоршня бус. Молчал, когда стратиг напомнил: «Про скотину не забудь», – а каталонец бросил в ответ: «Гонят! Гонят! Скоро быть», – но не пожелал Рамон остаться немым терпеливцем и добавил, грозно расширив глаза: «Нет батталио, нет добыча, нет борьба и походы! Люди мои уныло! Люди мои скушно! Бунт захотят устроить! Веселье нужно!» Князь ответил ему безмятежно: «Война тебе скоро будет, не сомневайся, а нынче у тебя другое дело: ты князю извинение скажи за грабеж и бесчестье». Рамон, повернувшись к тайно, рывкнул нечто невразумительное – за громкостью: то ли «Прости!», то ли «Уроды!» – а потом вылетел из княжеского покоя, багровый от гнева.

Князец таинский ни слова не проронил. Глиняную маску он снял левой рукой, а правой натянул маску деревянную, на которой пробиты были круглые отверстия для глаз и рта, обведенные ярко-голубой краской. «Почтительная радость, – шепнул Герман. – Добрый знак!»

Так же молча он в пояс поклонился Глебу Белозерскому, махнул четверем молодцам, мол, можете забрать имущество, а затем впереди них вышел за дверь.

Заговорил Герман:

– Скажи-ка мне, чадо мое возлюбленное, светлый стратиг, царев слуга, вот како мне потом с князьями таинскими да с простым народом речи вести о Боге, о вере, о Священном Писании, когда твой же служилец им, братьям нашим во Христе, всякую пакость чинит и неподобь? Я им азбуку сочинил под их речь таинскую, яко нижайший ученик святых равноапостольных Кирилла с Мефодием да святителя Пермского Стефана, молитовки им перевожу, Завет Новый, житийца, а с другой стороны к ним подходит вот такой вот высокородный дон и рыцарь преизрядный, чтобы граблением насквозь обидеть? Голощап скаредный, грабастик псоватый и бобыня безсоромный! Да еще и елдыга! Страмец! Страхолуд! Вот како...

Князь сделал рукой жест – мол, досадил, полно! Владыка замолчал, но, как видно, готов был вставить еще словцо-другое из тех, кои приобретаются в юности, да и остаются, неведомо как, на всю жизнь, вываливаясь из уст будто сор, под языком забытый, будто мыши, выскакивающие из щели, когда ты их не ждешь, и ни за что их уже не поймать. Никогда прежде Апокавк не видел владыку столь гневным. Герман сердито сопел и едва сдерживал себя.

Стратиг усмехнулся.

– Как-как... А вот так. Чего ты хочешь от Рамошки? Он воин, на бою яростен, корыстью не мечен, но своих железноголовых бойцов любит и все норовит им прибавку к жалованью устроить. О тонком думать – не его жеребей. Терпи, владыко, вразумляй, ходи ко мне, молись за раба Божия столь еросистого, а потом опять терпи. Бог терпел и нам велел. Како великий государь Владимир Всеволодович говаривал? «Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь; а Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь».

Вот и терпи. Чай, мы Бога не выше и прежних царей не умнее.

Герман засопел еще громче. Патрикий испугался: «А ну как бросится на стратига?! Духовная власть против светской пойдет, так, что ли?»

Но митрополит вдруг заулыбался:

– Каков урок смирению моему! Прав ты, наместниче, кругом прав! Благодарствую за науку, чадо. Ну, иди же ты ко мне, иди!

Глеб встал с кресла резного, бирюзой украшенного, шагнул к Герману, и обнялись они крепко. Митрополит размашисто похлопал воеводу по спине.

«Русские, как они есть», – подумал Апокавк.

Почитать их за это? Презирать их за это? Вот непонятно. Одно ясно: ну не эллины, не эллины...

23

«...Это не Христофор. Точно не Христофор. Либо я не изучал Аристотелеву логику софистов и тайные наставления для розыскных ярыг логофета дрома, либо это не Христофор. Как говорят, латинянин из латинян, заскорюзлый, чуть ли не молящийся на своего папу римского... То есть тот самый человек, которому любезен будет срам Московской империи ромеев, да... Конечно же, *qui prodest*... И все же: когда двенадцать человек морской службы как один говорят, что их возлюбленный начальник всю ночь провел на галеоне «Пинта», пробуя с подчиненными ту кислятину, которую они здесь называют вином, – лозу сюда завезли недавно, и настоящего вина, как, например, эллинский дар с острова Кипр, тут существовать не может, – значит, скорее всего, он и впрямь травился кислятиной, пока некто увечил мою бедную голову... И, следовательно, к похищению непричастен.

Путем исключения мы оставляем на подозрении всего два имени: Рамон и Гаврас, против которого, заметим, прямых улик нет.

Рамон... Тоже латинянин. Тоже не из прямых орудий Господа нашего. Нравом – истинный Минотавр. Вспыльчив, дерзок, угрюм и свиреп. Простоват, не его ума дело... Но со зла всякое мог учинить.

Значит, Рамон.

Так?

Нет, не так.

Все-таки на десятую, или даже менее того, долю это еще может быть Христофор.

Во-первых, потому, что поручились за него лишь те, кто состоит на службе в хозяйстве друнгария. Во-вторых, только латиняне. Из наших, ортодоксов, – ни один.

Эрго, чтобы до конца исключить генуэзца, требуется тринадцатый свидетель, ортодокс.

Но вероятнее всех именно Рамон, и никто другой. Ибо логика всегда и неизменно приводит нас к сути вещей».

24

«Ты такая красавица, милая моя! Мне тебя даже немного жаль. Впрочем, тут ничего не изменишь. Тебе придется немного поработать... ради вящей славы Господней».

25

«Как же ты хороша, дева таинская! Кожа шелковая, волосы – волна морская, глаза – плоть ночи непроглядной. Запах твой – ладан и мирра, шея твоя – башня Давидова, и вся ты яко из Песни песней вышла.

Господи, сохрани раба Твоего, шесть лет как женатого, от соблазна!

Кабы, дева, уста твои не двигались, кабы только губы твои горьких слов не роняли, цены бы тебе не было...»

Толмач ровным гласом рассказывает тебе то, что ты и сам ведаешь, поскольку речь тайно давным-давно тебе знакома. Он нужен тебе... так, на всякий случай. Ради утлой надежды, что ты, может быть, все-таки ошибся и не все верно понял.

Ты вслушиваешься и скоро с надеждою расстаешься. Ибо тебе говорят: «Брал меня... не единожды... без закона, но по взаимной склонности... деньги все растерял... одолжал всем... приказал готовиться... далеко поплывем... далеко-далеко... никто не достанет... одни жить будем близ родни твоей, что на большой земле... вещь одну возьму и продам... у приезжего... Абогавкина именем... Любимый мой...»

Ты велишь: «Еще раз – имя!»

Тебе отвечают.

«Громче! Еще раз – имя!»

Тебе отвечают.

«Имя!»

Никакой ошибки.

Позвать владыку!

Владыка говорит тебе: «Этого не может быть!» – и ты рад бы ему поверить, но ты обязан блюсти долг правителя, а потому отвечаешь ему: «Но без суда и следствия, как ни крути, не обойтись».

Позвать грека, ученого патрикия и редкого болтуна! Может, он уже сам докопался до сути... Не зря же за ум государем жалован.

Грек говорит тебе: «Все может быть...» Ты злишься и без особого вежества отвечаешь ему: «Тогда поторопись со своим расследованием!»

А затем ты вершишь то, что обязан. То, что мерзко душе твоей...

«Турмарха взять под стражу и привести ко мне сей же час».

26

На этот раз неприметный человек ждал Апокавка на горушке, отстоявшей на версту от столицы фемы. Лысобокая горушка венчана была рощицей с каменным поклонным крестом.

Очень удобно для двух людей, желающих побеседовать без свидетелей: один из них ждет с полудня другого, но успеет незаметно покинуть рощицу, если ко кресту начнет подниматься чужак; обоих закрывают от постороннего глаза деревья и кусты.

– Друнгарий? – начал Апокавк без предисловий.

Хонсарий вздохнул:

– К нему трудно подобраться. На корабле множество людей, одетых лучше, чем прочие. Им явно доплачивают за верность, и они приглядывают за всеми остальными, не давая им сунуть нос в серьезные дела. Однако две важные вещи выяснить удалось.

– Очень на это надеюсь.

– Во-первых, «Пинта» готова к отплытию в любой день и час. Для чего – никому не ведомо, а просто так обсуждать приказания друнгария там не принято.

– Из чего это видно?

– Изо всего. Моряцкие навыки мне вняты. И они – как раскрытая книга.

– Хорошо. Далее.

– Во-вторых, с простыми моряками друнгарий ни при каких обстоятельствах не стал бы пить. У него на галеоне – отдельный повар, обслуживающий лично Христофора, его самых лучших гостей и более никого. В особом сундуке хранятся весьма ценные вина – тоже для одного-единственного ценителя. Пища и вино друнгария никогда, ни при каких обстоятельствах не смешиваются с едой и пойлом его подчиненных.

– Достаточно. Следствие закончено.

– Не совсем, мой господин. Приблизительно через седмицу из Воскресенского порта в Ла-Корунью уйдет большой торговый корабль. На нем собирается отплыть аколуп с женой. Уже договорились с капитаном Гримальди.

– Еще раз, имя?

– Гримальди. Пьетро Гримальди.

– Непростой человек... Далее.

– Жена аколупа давно просилась показать детям их старый дом, но аколуп не хотел отбывать со службы надолго, а тут дал ей наконец согласие.

– Точно ли?

– В трех тавернах говорили об этом. Аколуп пил во всех трех, повсюду ругался на жену и повсюду говорил, что благородный кабльеро ни в чем не должен отказывать благородной сеньоре, даже если она попросит луну с неба. В последней таверне он разбил глиняную флягу с вином и в голос орал на тамошних людишек: «Понимаете ли вы меня?!»

– Так...

Дело никак не желало проясниться. Конечно, буйные речи пьяницы это всего лишь буйные речи пьяницы. Но если он не был столь уж пьян в действительности? Если он хотел, чтобы в городе заговорили: «Тряпка, размяк, уступает жене»? Отличный предлог для отплытия...

– Отставить генуэзца, с ним закончено. Отставить старое обличье. Новое имя. Новая одежда. Ты – арменин. Армянской речью ты владеешь, я знаю... Ты приплыл на торговом корабле, но дела торговые тебе опротивели. Ты желаешь военной службы, ищешь покровительства земляков. Их тут достаточно, как и по всей Империи. Ты надеялся на турмарха, а он арестован. Почему? За что? Какая его вина или он безвиновен и пал жертвой навета? Имел ли связь с дочерью таинского князьца? Разговаривал ли с кем-либо о планах сбежать? Итак, твоя цель – Вардан Гаврас.

И серебро московского чекана обрело нового хозяина.

«Может, рассказать о нем стратигу? Если вскроется тайное его пребывание в пределах фемы, князь будет недоволен... Но... Как говаривали древние, “не поверяй никому слово, которое может принести тебе опасность, хотя бы тот и блистал добродетелью, ведь природа человеческая непостоянна и изменчива, и то обращается от добра ко злу, то склоняется от зла к добру”».

27

«Сколько раз мы с тобой вместе смертную чашу пили? Сколько раз мы спасали друг другу жизнь по военной поре? Два раза ты мне, да я тебе раза три... На Угре, когда били татар на перелазгах, чуть оба в один час не сгнули, да Бог нас поберег, дураков молодых... Тогда еще – молодых... Двадцать лет минуло с тех пор. Мы оба в седине... Я велел меч твой булатный у тебя забрать... Во что же ты влип, друг собинный? Прости меня, я иначе не могу. Не прожигай во мне взглядом две дырки, и без того у меня сердце не на месте».

– Должно соблюсти закон...

«Огонь, от тебя исходящий, токмо сильнее сделался... Ну а как? Почему я-то опускаю глаза? Почему я опускаю глаза? Не след опускать мне глаза...»

– Погляди-ка на нее, Варда!

Баба таинская сидит в углу, ни жива ни мертва, вся в трепете. Ин, при таких-то делах трепетать – уместно.

– Видишь? Готова крест в том целовать, что все, против тебя ею намолотое, – истина неколебимая.

– А! Женщина. Ум переменчивый. Ныне в одном крест поцелует, завтра же – в другом.

«Сколько беспечности! Железо хладное по твоей шее плачет, а ты веселиться изволишь! Впрочем, а каким еще тебе быть? Каков есть, таков и есть. Страха я от тебя ни в чем ни в кое время не видел, откуда ж ему сейчас взяться?»

– Что тебя с нею связывает?

«Смотри, смотри пристальнее, авось разгадочка появится...»

– А хороша, Глеб! С ума от нее съехать – пара пустяков... Но я ею не владел на ложе.

– Что-то иное?

– Бог свидетель, ничего.

– Ты обесчестил донну Инес, благородную Феофано Дука, купеческую вдову Рукавишникову... и все сие сотворив, к таковой красе остался хладен?

– Ну... все три тобой перечисленных особы сами страстно желали быть обесчещенными. А эта... да, может, и не остался бы хладен, но по сию пору не видел ее никогда.

– Многовато она о тебе ведает – для сушей незнакомицы.

– Да обо мне все все ведают. Я не скрытный человек. Живу... как это по-твоему... по-московски... нараспашонку.

– Нараспашку.

«Варда-Варда... Молчишь. Усмехаешься. Взглядом жжешь... Что мне делать с тобой, большое дитя неразумное? Сам ли ты сплоховал... ох, не верится... роет ли кто-то яму под тебя... а отпустить твою милость я не могу. Что тебе сказать? Как огонь в глазах твоих обидный погасить?»

– Я... я не оставлю тебя без справедливости.

– Мне бы больше подошла твоя дружба. Но... как вы у себя в Москве говорить любите? На худой конец и это сойдет.

«Едва заметно кивает мне. Мол, ничего, как-нибудь разберемся... Огонь гаснет... Спаси Христос, Варда! Мне... легче».

28

Колокола ударили, созывая на вечернюю службу. С моря шла буря, волны ростом с дом таранили берег, били в каменную грудь портового мола, вышибали из нее камни. Пена морская, отступая, обнажала землю, забросанную водорослями, кое-где рыбы, выброшенные на берег, в отчаянии хлестали его хвостами. Река вздыбилась, течение ее обратилось вспять.

Гул колокольный смешивался с грохотом океанической ярости. В этом шуме, как будто вылетающем из преисподней, растворился верный хонсарий. Сегодня на условленное место он не пришел.

А вот слова Германа, вроде бы сказанные тихо, Апокавк расслышал очень хорошо – благодаря давно выработанному умению «слушать спиной».

– Феодор, чадо, поди же сюды, что стоишь, отворотясь? Бурею любишь? Таковые тут не в диковинку... Не опасайся, светопреставление сегодня еще не начнется. Чуть попозжэй!

Апокавк отворотился от окна.

– Мое ли дело, владыко, при исповеди присутствовать? К чему тут свидетели?

Герман махнул рукой с досадою:

– Какая тут исповедь! Не будет никакой исповеди... Соврет – душу свою почернит, а не соврет, так я поведать ничего князю нашему не смогу, ибо тайною связан. Так что исповеди ей не дам. Но то, что с таковым желанием ко мне пришла, а не еще к кому-нито, о чем знаменует? Душа ее бедная в колебании... Для того и позвал тебя. Поговоришь с ней сам, авось учуешь, откуда падший дух лжи в душу к рабе Божьей Марии запрыгнул. По-русски она не понимает, также и по-гречески, я тебе перетолмачу.

Апокавк хотел было отговориться: к подобному разговору надо готовиться, а он не готов.

Но скоро передумал. Красота женщины поразила его. Патрикий видел ее дважды в хоромах стратига, но не вот так, в шаге от себя, а глаза его, глаза книжника и дознавателя, уже не так хорошо доносят до него совершенство мира Божьего. Она... она как пиния, стройна и кудрява, тело ее соразмерно статуям, дошедшим до наших дней от благородной афинской древности. На лице лежит робость и терпение, от уст, кажется, отлетает аромат благоуханных смол.

«Как можно не полюбить такую?»

И тут у Апокавка на миг пресеклось дыхание.

«Вот оно!»

– Владыко, истинно ли говорил, что аколупф любит свою жену любовью великой, всесветной?

– Уж точно никого он не любит, токмо жену да головорезов своих. А без нее и всего света не увидит, и даже головорезов позабудет.

«Но в таком случае, что подсказывает нам логика? Никогда не подвергнет Рамон смертельному риску свою возлюбленную супругу, вывозя отреченную книгу вместе с нею, на одном корабле. Нет, любовь ему не позволит. Остаются два человека, а если хорошенько подумать, то и вовсе один».

– Сейчас посмотрим, владыко, дает ли хорошее образование такие преимущества, какие ему приписывают... Толмачить, если я окажусь прав, тебе не понадобится.

И патрикий, весело улыбаясь, сказал Марии:

– Ес сирум ем кез, сирели¹.

Женщина покачала головой с недоуменным видом.

Тогда Апокавк произнес:

¹ Я люблю тебя, возлюбленная (арм.).

– *Ti amo, сага mia*².

Навстречу ему выпорхнула привычная фраза:

– *Anch'io...*³

Не закончив, таинка в ужасе заперла рот ладонями. Кажется, она бы и язык себе вырвала, если бы это каким-то чудом помогло не отправить в полет тех слов, которые только что прозвучали.

Да хоть бы она ничего не сказала, улыбка, на миг осветившая ее лицо, выдала Марию с головой.

Она мигом выскочила из митрополичьей палаты, до слуха Апокавка донеслись шлепки голых ее стоп по ступенькам, дощатый пол скрипнул под ногами беглянки, потом долетел чей-то возглас – кого там Мария оттолкнула с пути?

Патрикий в изумлении помотал головой: «До чего быстра! Не утонишься».

Герман поглядел на него со снисхождением:

– Что, чадо, уразумел наконец-то!

«А ты как будто с самого начала знал?»

– Ты же, владыко, обо всех подозреваемых сказал, что не могли они совершить злодеяствия, ибо добрые люди и скверно думать о них – негоже?

Митрополит улыбнулся с хитринкою:

– Не тако. Об одном сказал: «Како не утращусь думать про него, что вор? Не желаю думать такового». Я, я, чадо, не желаю. А тебе – отчего бы не подумать?

– Почему же не подсказал мне, владыко?

– Я все, тебе надобное, сказал. Ум твой излиху тороплив...

«Вот лукавый старик! Как бы то ни было, а следствие закончено. Надо идти к стратигу. Нет, надо бежать к стратигу!»

– Сходи, сходи, чадо, к воеводе, порадуй его, что можно Ховру-то отпустить...

² Я люблю тебя, дорогая (*итал.*).

³ Я тоже... (*итал.*).

29

– ...давно ль знал?

Герман поиграл бровями, мол, а важно ль?

– Все заслуги, князь, за гостем нашим, из самой Москвы за тридевять земель к нам, грешным, добравшимся. Его и удоволь.

Глеб Белозерский посмотрел на Апокавка угрюмо. По лицу его грек понял: едва сдерживается, чтобы не накричать. Читит гостя, читит того, кем он послан, и только поэтому не дает себе воли.

«Но за что? Дело-то завершено, сейчас бы генуэзца задержать да книгу изъять. Невелика работа, однако с нею надо бы поторопиться. Неужто сей малый долг тяготит стратига?»

– Удоволю, владыко, удоволю... – И, повернувшись к самому Апокавку:

– Не гневайся, гостюшка, что удоволю половинно. Авось, прочее тебе на Москве отсыпят. Я... пожалуй, денег тебе дам, ходячего серебра. О позапрошлом годе у нас тут двор монетный открылся. Воскресенский монетный двор... да.

Наместник замолчал. Герман глядел на него с удивлением. Что за предмет для беседы меж главою фемы и думным дворянином государевым – двор денежный? К чему это?

Апокавок недоумевал не менее митрополита. Князь наконец вновь разомкнул уста:

– Так вот, денежные наши умельцы чеканят милиарисии да кератии на старый московский выдел. На лицевой стороне, по вашему, греческому обычаю, – государь в царском венце, с державою в одной руке, с лабарумом – в другой. На оборотной же, по нашему обычаю, – ездец московский с копьцом, да вокруг него сказано впросто: «Деньга московская». Добрый выдел, все на месте. И нет на нем нелепых новин нынешних, никто не мудрует, дурного слова «Орнистотелес» на деньгу не наносит. Зато как только глупец, вроде твоего лазутчика, светлейший патрикий, принимается где не следует и при ком не надо расплачиваться своими орнистохренами, ушлые людишки сей же час шильцом-то его нороят подколоть, а потом рот новым московским серебрецом, в наших краях доселе невиданном, набить так, чтоб разом наелся досыти. Так пожалуй тебе, господин мой патрикий, тугой мешочек нашего простого серебра воскресенского... на память!

Апокавок опустил голову. До чего же глупо... На пустом месте! Да, глупо, очень глупо! И ведь знал, что новый монетный двор работает! Знал, что именно чеканит. Знал, знал, знал! И? И? Такой хонсарий загублен! Цены ему нет!

– Мертв?

– Мертвее некуда. Нашли в порту.

– У него осталась семья... отдам ей твой мешочек, князь... – только и смог ответить Апокавок.

В лицо Глебу он смотреть не смел.

– Хоть душа в тебе есть, патрикий...

– Я помолюсь за него, – молвил владыка. – Как звали раба Божия?

– Петр Чужденец... Родом болгарин из Видинской фемы.

Скрипнула дверь. В палату ворвался турмарх с коротким мечом на бедре, сияющий от радости. За дюжину шагов до князя вскричал он:

– Что стоите? Зачем стоите? Зачем время теряете? Она сообщила ему, уже сообщила, он уже отплыть изготовился! Идем, бежим, сразимся со злодеем, возьмем бесчестника!

Князь остановил его мановением руки. Вздохнул, голову опустив с виноватостью, точно так же, как только что Апокавок. Чуть понемотствовав, стратиг фемы тихо сказал:

– Не спеши... Не горячись, друг мой собинный... Я прежде хотел видеть тебя, чтобы сказать...

Армении не дал ему договорить, подскочил, горячо обнял. Два слова прозвучали одновременно:

– Прости!

– Пустое...

Турмарх, расцепив объятие, живо отошел от князя, направился к двери, на ходу бросая всем остальным:

– Теперь за ним! Не будем терять времени!

Наместник попытался было его остановить:

– Ты бы не горячился...

Но охотничий задор уже завладел всем существом арменина:

– А! Быстрее же! За мной! Глеб, копуша, кто первый коснется его клинком или хотя бы рукой, тому золотой иперперон!

Скрылся в дверях.

Князь покачал головой:

– Как бы ни торопилась «Пинта» отплыть, а ядра из бомбард нашей крепостицы всяко ее догонят...

– Поэтому на «Пинте» друнгария нет и не будет.

Глеб тотчас же повернул к Апокавку голову.

– Поясни-ка!

– Выйти в море – якобы попытаются. Якобы. Получат залп. Встанут на якорь. Завтра скажут: друнгарий закололся, повесил камень на шею и с какой-то книгой в обнимку, страдая от отчаянья, бросился в бурные воды. Ищите на дне морском! Если не в точности так, то приблизительно. Крест поцелуют!

– На самом же деле?

– Сокрыг на торговом корабле, что вскоре отойдет к Ла-Корунье. Капитаном там – Пьетро Гримальди. Мало того, что генуэзец, еще и один из владельцев банка Святого Георгия, где твой друнгарий числится клиентом...

Тут рокот бури разорван был гневным рыком бомбарды.

30

– ...сказали мне с клятвенной твердостью: сам прыгнул в гневное море, привязав себя к большому и тяжелому сундуку...

– Будет, Варда...

– Но я же сам от них слышал... Зачем мы здесь?

– Много чего может услышать честный человек от записных лжецов... А здесь мы по душу нашего крамольника.

– Здесь, Глеб? Как по-вашему будет: в городе бузина, а в Киеве...

– Все, Варда! Тише. И будь настороже. На тебя возлагаю надежду.

Прямо перед ними большая трехмastedая каракка «Сан-Джиорджио» покачивалась у причала, разглядывая город жерлами великих пушек-бомбард и жерлишками малых пушченок-волконей. Трепетавшие на ветру полотнища с гербами и изображениями святых говорили сведущему человеку: корабль готов к отплытию.

«Ждали попутного ветра... – определил Апокавк причину задержки. – И дождались нас. Оно и к лучшему, без пальбы обойдется».

Стратиг указал ему рукой на сходни. Мол, ступай впереди всех. За ним отправил двух ражих детей боярских в кольчугах, с саблями и сулицами. Затем на сходни шагнул турмарх, следом сам князь, последними – еще четыре сына боярских.

Как только зашли на корабль, князь негромко приказал последней четверке:

– Беречь сходни!

На пути у маленького отряда стоял невероятно жирный человек с тяжелой золотой цепью через плечо. На голове у него красовался бальцо, обтянутый красным шелком, с крупной эмалевой брошью на левой стороне. Пальцы унизаны были перстнями. Один из них представлял собой золотую змею с изумрудными глазами, обернувшуюся семь раз вокруг пальца и кусающую себя за хвост.

– Чем обязан? – осведомился толстяк холодно.

По-русски он говорил чисто.

– Я стратиг этой фемы, и я имею желание осмотреть...

– Мне известно, кто ты, князь Глеб Билозерцо. Я... капитано и проприетарио... владелец сего корабля, и...

– Мне ведомо, кто ты, Пьетро Гримальди. Потребен осмотр.

– Не хочу огорчать досточтимого князя, но таможня фемы уже осмотрела...

– Не хочу огорчать почтенного капитана, но моей воли достаточно, чтобы осмотреть корабль вдругорядь.

– Ни в коем случае не желаю выглядеть сопротивником воле твоей, князь, однако есть у Каса ди Сан-Джиорджио особый договор с... принсипе Джованно Моско... э-э-э... твой цар. – Капитан с трудом сохранял прежнюю невозмутимость, начал запинаться. – Порухение договора многих огорчит... в Моско. Должно тебе... показать... грамота? Да, грамота с именем царили службилец его царской милости. Иначе – нет. Ауторита локали... местное архонт, вои- вода, стратиг, дукс не имеет права.

Стратиг пожал плечами:

– Разве намерен я рушить договор? Вот царев служилец прямой в чине думного дворянина.

Апокавк молча вынул и показал бумаги.

Гримальди читал внимательно, и чем больше осознавал силу его грамот, тем больше краснел. Дойдя до конца, он выглядел как вареный рак.

– Досточтимый князь, я все же...

– Basta! Basta! – из кормовой надстройки вышел друнгарий. – Non ne valgono la репа⁴.

Стратиг, даже не повернув головы, сообщил капитану:

– Вижу в тебе человека здравого разума. Но ежели, паче чаяния, решишь учинить шумство, знай, все бомбарды и пищали крепости направлены на корабль сей. Пушкарям, коли люди твои зашевеливаются, велено палить, не смущаясь тем, что фемное начальство с корабля не сошло. Ничего, на худой конец, воинский голова Григорий Собакин меня заменит... Выход в море перегорожен двумя галеонами и четырьмя дромонами, сифоны с горючей жидкостью на них готовы извергать греческий огонь.

Апокавк возымел о князе почтительную мысль: «Когда только успел вывести боевые корабли в море? Разве что рано утром, засветло, едва буря утихла... Ничего не упустил».

– Ни словом, ни помышлением, господин мой стратиг, – ответил Гримальди, с тревогой поглядывая на крепость.

Стратиг вложил в улыбку десять гривен дружелюбия:

– О, не сомневался, что мои надежды на здравомыслие твое, высокочтимый фрязин, не напрасны.

Друнгарий, обнажив длинный тонкий клинок с гардой в виде округлой корзины с плетеной скобой сбоку, медленно надвигался на Глеба Белозерского. Лицо его было страшно.

«Какая-то маска гнева из древней трагедии...»

Из-за спины Апокавка выскочил арменин. Ударил мечом раз, другой, третий... и вот уже плетью висит левая рука генуэзца, источая кровь.

– Иперперон – мой, Глеб!

Вдруг откуда-то снизу на палубу вылез человек с двумя пистолями – в левой руке и правой. Грохнул выстрел. Арменин вскрикнул от боли и покатился, уронив меч.

Стрелка почти не было видно за пороховым облачком, но Апокавк уловил: «Левую руку поднимает, князя выцеливает!»

Что-то пролетело мимо его уха.

Стрелок застонал, падая.

Апокавк бросился к друнгарию, который уже примеривался, куда бы ткнуть Гавраса – чтобы насмерть. Грек успел выхватить меч из ножен, но поскользнулся на крови и полетел вперед, словно камень, пущенный из катапульты. Рухнул в ноги друнгарию. Тот покачнулся, сделал пару шагов назад, но клинка не выпустил.

Чья-то сильная рука отшвырнула Апокавк в сторону, как котенка.

– Ты же со мной хотел... Так давай, горячая голова.

Князь Глеб смотрел на друнгария безмятежно.

Генуэзец сделал выпад. Еще. Еще. Еще. Рубанул сплеча. Попытался достать ногу князя. Вывел какой-то замысловатый прием, метя в шею...

Стратиг легко отбивал его своей саблей.

– Стар стал, – сказал он рассвирепевшему друнгарию без задора. – Ослаб.

И сам с какой-то спокойной ленцой нанес четыре удара – столь сильных, что генуэзца разворачивало боком, когда он подставлял клинок. На четвертом ударе его развернуло почти что спиной. Стратиг перехватил правую руку друнгария и с размаха приложил рукоятью сабли в висок. Тот рухнул, как подкошенный.

– Марать противно... – спокойно молвил князь, вкладывая саблю в ножны.

Все то время, пока Глеб Белозерский дрался с генуэзцем, Апокавк лежал на палубе, потирая лодыжку.

«Вывихнул? Нет, слава Богу, всего лишь потянул... А что там со стрелком?»

⁴ Хватит! Хватит! Не стоит (*итал.*).

Стрелок лежал пластом, с сулицей в горле. Из-за пояса у него вывалился стилет – короткий и тонкий. Апокавк повертел его в руках.

«Русские назвали бы это шилом... Вот кто ранил нотарию, убил охранника моего, а потом хонсария».

Патрикий огляделся.

Князь Глеб сидел прямо на палубе и держал тело Гавраса на коленях.

– Ну как же ты, друг мой... Как же ты, брат мой...

– Брат-то... я твой, – пробормотал арменин, теряя сознание, – а иперперон... все равно мой.

– Да твой, твой, – ответил князь со вздохом. Вынул золотую монету и сунул ее Гаврасу в руку. Тот ослабел до такой степени, что иперперон выкатился у него из пальцев.

– Ничего, ничего, – сказал князь, подбирая монету.

Глеб опять вложил ее арменину в руку, а чтобы она вновь не упала, сжал его ладонь своей. Турмарх, кажется, уже ничего не понимал. Он лежал, запрокинув голову и закрыв глаза.

– Ничего, ничего... – повторил князь. – От таких ран не умирают... вот только кровушки из него повыйдет страсть сколько... эй! – кликнул он сына боярского. – Перевязать! Живо!

Пока Гаврасу останавливали кровь, стратиг заговорил с Апокавком:

– Послушай, грек... дурного слова от меня более не услышишь. Не бросился бы ты, так Ховра мой, буйная головушка, точно бы жизни лишился. Не как патрикию, а как другу скажу тебе, ибо теперь ты мне друг: прости за укоры. И вот тебе – на добрую память.

Стратиг, сняв с шеи золотой образок с изображеньем святых Бориса и Глеба, протянул его Апокавку.

31

«Молодой город, можно сказать, юный город. Совсем недавно пришли сюда люди креста Господня. И хотя царская казна вкладывает в здешние края умопомрачительное количество серебра, каменных строений еще мало, храмов еще мало, да и сам град Воскресенский невелик... Казалось, только что выехали из палат стратига, а вот уже и окраина, деревеньки предместные, и – пустынное место... Ну да еще вымахает на славу: растет быстро».

Тайное дело требовало бережения. Стратиг повелел подвергнуть мятежного генуэзца суду вдали от города, от чужих глаз и ушей, позвал с собой немногих верных людей. На берегу моря поставлено было резное деревянное кресло с костяными и золотыми вставками, прямо на песок. Заняв место судьи, Глеб Белозерский приказал поставить перед ним подсудимого. За спиной у генуэзца встали двое приставов с топориками.

Князь кивком велел дьяку выйти вперед. Тот вынул из бархатного мешочка свиток и приготовился отвечать на вопросы.

«Совсем еще молодой человек... и уже дьяческий чин имеет. Как видно, здесь, на земле Ойкумены Эсхаты, чины выслуживаются быстрее. По виду – русский. Щеголь, как и все русские, серебром кафтан обшил, сапоги вообще невообразимые: каблук красный, верх – белой кожи, лилии на нем вытиснены... франкская работа. Откуда только торговцы сюда не добираться! А казалось бы – дальняя даль... Запомнить».

– Афанасий Козьмин сын Совин, велю тебе объявить закон на государева крамольника.

Дьяк с немыслимой быстротой принялся вертеть деревянные палочки, к которым были приклеены верхний и нижний концы свитка. Узкий бумажный столбец длиной локтей в двадцать, а то и в тридцать содержал в себе Судебник царя Иоанна III, получивший силу совсем недавно. «Скоро же сюда новый свод русских законов доставили», – приятно удивился Апокавк.

Нужное место, наконец, открылось.

– Государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и подымщику, и зажигающему, ведомому лихому человеку живота не дати, казнити его смертною казнью, – объявил Совин.

Друнгарий поморщился.

– Ты знаешь, стратиг, я имею право судиться греческим законом.

– Имеешь, мятежник. Токмо мы уже все твои права разочли и вычли, нет у тебя ходов ко спасению... Светлейший господин патрикий Империи, думный дворянин государев, разъясни-ка лукавцу, каков на него греческий закон.

Апокавк, усмехаясь, встал рядом с дьяком и выдал наизусть, без запинки:

– Воинскому служильцу подобает судиться воинским законом. Воинский же закон царский эллинский гласит: по статье первой, тот, кто осмелится организовать заговор, или тайное сообщество, или бунт против своего архонта, будет подвергнут отсечению головы, в особенности предводители заговора или бунта. По статье седьмой, если кого-либо уличат в желании передаться врагам, того следует наказывать высшей мерой наказания, причем не только его самого, но и единомышленников и умолчавших. По статье двадцать седьмой, совершивший воровство стратиот, к каковому приравнивается любой воинский начальник, включая друнгария, да будет изгнан с военной службы, после того как он вернет украденное в двойном количестве. Учитывая то обстоятельство, что книга была передана царскому служильцу, то есть мне, преступление было совершено против собственности самого императора, а не частного лица, что включает статью тридцать первую: «Провинившийся перед императором умерщвляется, а его имущество конфискуется».

Герман одобритительно покачал головой:

– Вот же складно поет! Яко птица сладкоголосая. Заслушаешься!

Князь раздумчиво потер подбородок, глянул на митрополита, и оба друг другу едва заметно улыбнулись. Апокавк, уловив эту их игру, рассердился: «О чем-то между собой уже сговорились, а меня, царского слугу, оставили с краю, не уведомив о своем договоре. Посмотрим, надо ли терпеть такое!»

Подсудимый молчал. Наместник пожелал ему прояснить суть дела до конца:

– Вот тебе греческий закон, мятежник. По трем статьям подлежишь смертной казни, еще по одной – изгоняешься со службы и платишь стоимость книги вдвое. Впрочем, мертвецу, у которого забрали все имущество, платить вроде как несподручно, да и не из чего.

И тут генуэзец поднял на Глеба взгляд, полный ярости, и закричал:

– Хочешь убить меня, варвар? Убей! Убей! На что ты еще способен! Вы... вы все разрушили... Но я не боюсь тебя!

Князь равнодушно отметил:

– Ну, хотя бы не трус...

Воцарилось молчание. Друнгарий, только что гневавшийся, обмяк. Из левого глаза показались у него слеза. Он бы и не хотел, наверное, чтобы слабость его заметили, но предательская слеза у него не спросила разрешения. Генуэзец дернулся, порывистым движением смахивая ее. Глянул на князя дерзко. Мол, не думай, я тебе не баба, не взвою и сапоги целовать не стану, вымаливая пощаду.

– Но Бог милостив... – неожиданно произнес Герман.

«Какой-то знак подает князю».

– А государь справедлив, – сейчас же откликнулся Глеб. – Я его волею рассуживаю здесь суды, его волею караю и милую.

Генуэзец воззрился на него со смесью деланного презрения и надежды на лице.

– Существует очень древний русский закон... от корней Руси, от самого ее изначалья. Злодейство, совершенное на братчине, во хмелю, считается чуть меньшим злодейством, и, значит, на злодее – чуть менее вины. Ведь всякий, кто идет на пир, ведает, что за чашею вина или меда хмельного скоро теряется образ Божий в человеке... Одно – жизнь повседневная, иное – время братчинное. На пиру – от зла только успевай уворачиваться, ибо бес близок. Вот я и раздумываю: вспомнить ли мне о древнем законе или не вспоминать? Ты, фрязин кривой, с братчины идучи, со своим прислужником закон преступил... и тут как повернуть: отселе гляючи, пир-то ты уже покинул, а оттуле смотриючи, хмель-то в тебе тот самый играл, что ты у меня в гостях во уста свои принял. Вот я и недоумеваю: ежели тако, то ты мертвец, а ежели инако – живец, со службой распростившийся да серебра казне нескудно отдавший, ибо книга, за ветхостью лет ее, дорога, но дом и прочее имущество сохранивший... Нет, не пойму пока, что мне с тобой делать.

Друнгарий судорожно глотнул. Кадык его прыгнул вверх и опустился.

«Разумеется... Ничего, кроме казни не ждал, настроился уйти героем, а тут с ним играют, и броня его уже трещину дала. Но во что играют? Тут бы право заявить свое, государем дарованное, самому судить, мимо градских и фемных властей. Но, во-первых, давал когда-то древний умник добрый совет: «Если ты топотирит или имеешь какую другую власть, подчиненную власти стратига, не противодействуй ему, а слушайся его с полной покорностью». Я не какой-нибудь топотирит, я намного выше, однако власть стратига здесь огромна, разумно ли публично вступать с ним в спор? И, во-вторых, это можно будет сделать позже, а ныне хочется посмотреть, что за шутку решили с ним сыграть стратиг с митрополитом, ведь они люди не глупые, придумали нечто особенное...»

Генуэзец с трудом разомкнул уста, постоял с открытым ртом, не решаясь заговорить, а потом все-таки произнес:

– Как мне склонить твою память, князь, к тому, чтобы она послужила тебе наилучшим образом?

На лице его отразилось борение. Он как будто проклинал себя за свою слабость и приготовился взять только что сказанные слова назад, но... пока что не брал.

«Ага, вот уже и князь, а не «варвар»...»

Князь тяжело вздохнул. Он не торопился, давая генуэзцу утвердиться в собственной слабости.

– На то, скажу тебе, мятежник, есть иной древний закон. И тоже существует он от начала Руси. Ведомо лихой человек не заслуживает снисхождения, а единожды оступившийся может получить ослабу. Каков ты, я теперь не ведаю. Были бы послухи, люди доброго состояния, доверия достойные, кои высказались бы за тебя, тут бы и делу конец. Но кто будет за тебя послухом? К кому мне ухо приклонить? Товарищи твои, латиняне, чай, солгут, желая тебя спасти. А прочие служилыцы разорвать тебя готовы... Разве что владыка... ему поверю. Ты ему не враг и не друг, а случайный человек. Как он скажет, так тому и быть. Хочешь ли, он за тебя передо мной предстательствовать будет?

Друнгарий, поняв, что его ведут по какому-то неясному пути, а иные дороги заперты, просто склонил голову в знак согласия.

Тогда Глеб Белозерский обратился к митрополиту:

– Владыко, имеешь ли желание печаловаться о судьбе раба Божия Крестофора Колуна?

Герман нахмурился, помотал головой сердито:

– Нет, не имею такого желания. Нимало не имею!

Апокавк посмотрел на него с удивлением, подсудимый с горечью, прочие с непониманием. И только стратиг сохранил полнейшее хладнокровие.

– Отчего, владыко?

– О дурном человеке к чему печаловаться?!

– В чем скверна его?

Генуэзец пробормотал:

– Какие-то... недостойные уловки... – Но никто его не услышал, и, кажется, он и сам не очень желал, чтобы его слышали.

– Порушил девичество рабы Божьей Марии, наставил ее на обман и сам обманул, мужем ей не став.

– Раствление девицы – грех и дурно. В том ему бы покаяться своей, латинской власти церковной. Но, может, искал он стать ей законным супругом, да не успел, нашим правосудием запертый?

«Вот, значит, куда они гонят зверя...» – сообразил Апокавк.

– То было бы по-христиански, и я молвил бы за честного человека доброе слово. Но ты бы спросил его, княже, любит ли девицу и желает ли супругой ее сделать?

– Ответствуй, мятежник, добрый ли ты христианин?

Генуэзец окаменел. Только глаза его вращались, отыскивая, кажется, как бы выскочить из глазниц. Друнгарий издал хрип, похожий на орлиный клекот. Дар речи покинул его.

– Не гневи напрасно, ответствуй! – нажал князь.

Друнгарий сипло каркнул:

– Низкая кровь...

– Колеблешься, стало быть? Ну так и я вместе с тобой колеблюсь, – как ни в чем не бывало, заговорил Глеб Белозерский. – Я тебе помогу, авось впитаешь истину Царства нашего вполне. Оба вы крещены. Оба вы на ложе миловались с радостью, и в те поры никто о крови не думал. Но кто вы такие? Она – дочь князьца таинского, значит, не простой человек, а знатный. А ты кто таков? Сын шерстянщика, пошлого торгового человека, своими трудами да милостью государевой от гноища к высотам поднятый. Так кто кому честь делает: княжна купцову чаду

или купцово чадо княжне? Я, благородного Рюрика потомок, на вас обоих гляжу якобы с вершины великой на подножье. Но в женах у меня сестра старейшая твоей, мятежник, невесты. Породнимся же, жбан фряжский, покуда милостив я и позволяю свадебным нарядом высоко-родной девицы грехи твои покрыть. Понял ле?

Начинал говорить наместник спокойно, но чем более высказывал мысли свои, тем более распаялся. И к концу разъярился так, что слова его вылетали из уст, словно львиный рык.

– Да... – прошептал генуэзец.

– Громче! Все должны слышать! – рявкнул князь.

– Да! Я хочу жениться.

Тогда вступил в дело Герман:

– Буди милостив к нему, княже. Вот мое слово пастырское.

– Будет ему моя милость. Будет! Пока не сведаю, что свояченицу мою хоть в малом оби-дел. Помысли о себе, фрязин неверный, восхочешь ли обижать ее сего дни, назавтрее, или через год, или через десять лет... В ее счастья – твоя жизнь. А ты, владыко, готовь свадебку. Поста никоторого нет, венчаться нонче же велю, пир у тебя, милосердного пастыря, на подворье. Иноков помоложе на посылки разгони, дабы им не в соблазн празднование свадебное пошло. А третьего дни дела друнгарские мятежник наш новому друнгарии сдаст. Все ли ладно? Нет, не все. Светлейший патрикий... имеешь право на царский суд...

«Вспомнил наконец-то! Вежлив... Или с Москвой ссориться не желает».

– Станешь ли оспаривать волю мою?

Апокавк помолчал для солидности. Для себя он давно решил: князь с митрополитом устроили судьбу латинянина-бунтовщика с ловкостью и весельем, тупая казнь – всегда хуже. Поэтому...

– Нет, не стану. Мое слово: воровское дело вершено по закону и справедливости.

32

Всем хороша вышла свадебка, токмо жених сидел, нос повесив. Да и он, благодаренье Богу, ближе к ночи малость повеселел. Хороша, видать, раба Божия Мария в тех делах, о коих мне, иночествующему смиренно, не надо бы ни знать, ни думать.

Одному не порадуеться: крестишь их, крестишь, закон и обычай христианский им объясняешь, объясняешь, а все нехристи. Крещение святое принял, почитай, один тайно на десять. И то – хлеб. Родня невестина – вся с крестами ходит и вся на свадебный пир пришла. И вот как ты вразумишь рабу Божию Марию, что ей под венец полуголой идти нельзя, а надобно в платье, которое ей, бедняжке, страсть как неудобно, и бедра краскою разрисовывать тож не надо, да и ягодицами зазывно шевелить, идучи вокруг алтаря, не след, когда отец ее, и мать, и братьовья, и прочие племенники едва ли не в полной наготе явились, да еще ей кричат: «Прелесть покажи! Прелесть покажи!» – и иное таковое, что сказать неудобно. Вот как? А когда по-русскому обычаю зерном обсыпать их стали, так семья невестина все до единого зернышка с полу собрала и вернула – что за поверье у них дивное насчет зерна, в толк не возьму!

Ничего... Бог поможет, все похристианятся в полную меру и поромеются до конца.

Вот те же каталонцы – народ давно во Христе живущий, а по сию пору дикий. Потому, когда молодых деньгами обсыпать стали, – тож по нашему обычаю – головорезы Рамоновы сей же миг с резвостью серебрецо собирать кинулись, но ничего не вернули.

Кто ж из них дичее?

А свадебка хороша вышла. Все зло забыли, ей предшествующее. Славен Господь!

33

«Хотя и нахожусь далеко от ваших мест и не принимаю участия в твоём благом сообществе, которое изо всех красот вашей фемы считаю прекраснейшим, изысканнейшим и драгоценнейшим, однако память и очарование нашей доброй дружбы остаются у меня в душе, и временами ты стоишь почти что рядом со мною. Терзается душа моя, желая быть возле тебя; но долгота столь великого пути и бескрайнее море Ромейское не позволяют мне лететь к тебе, и я сижу, только что не проливая слез из глаз, едва вспомню о тебе. Пускай же вместо меня устремится к тебе хотя бы мое послание; сознаю недостойнство подобной замены, однако обстоятельства судьбы ничего большего мне, к несчастью, не позволяют.

Не могу отказать себе в живейшем душевном удовольствии: рассказать о последних шагах, совершенных во закрытие врат всего опасного приключения, связанного с известной тебе книгой. Яд ее более не принесет никакого вреда. А был он воистину опаснее многотысячных армий турецких!

Ведь что есть наша Империя? Мягкость нравов, достигаемая просвещением и добрым воспитанием, столь отличная от сурового поведения варваров, особенно же язычников. Покой и безмятежность находящегося внутри имперских границ мира, каковые достигаются силой меча и мудростью правителей наших, а также их советников-философов. Главенство закона, позволяющее мирно завершать любые внутренние столкновения. К этим трем элементам следует добавить четвертый, быть может, наиболее важный: неподвижность всего здания Империи. Держава наша не может быть абсолютно неизменной, поскольку природа и нашествия варварских племен являются постоянным источником испытаний, каковые посылает ей сам Господь; не учась из поколения в поколение разнообразным навыкам и приемам, с помощью которых следует отражать натиск природный и человеческий, невозможно сдержать его; но сам процесс учебы приводит к обновлению, изменению; таким образом, изменения неизбежны. Однако они не должны быть скорыми, спешными; быстрая перемена законов и учреждений губительна, она смущает умы, она зовет сердца к мятежу. Неподвижность здания Империи – есть образ, удерживаемый каждым поколением, и он представляет собой результат медленности в изменениях: все сколько-нибудь важное развивается медленнее, чем рождается, вырастает и умирает целое поколение. Незыблемость Империи – кажущаяся, но так должно думать людям простым, ибо незыблемое уютно и притягательно в качестве родного дома.

Так уместно ли нам разрушить эту неподвижность, бросив умам злым и разрушительным кость сомнения в том, что Империя наша – совершеннейший результат сотрудничества Господа и людей? Никогда! Ни при каких обстоятельствах!

Поэтому спешу тебе сообщить, владыко: я счастлив, поскольку история наша с отреченной Хроникой закончилась благополучно. Тебе, птенцу Магнавра, должно быть понятно, какие страдания испытывает человек, знающий подлинно, сколь необходимо уничтожение некоей книги, но колеблющийся, поскольку любовь к винограду словесному, впитанная от уст наставников, запрещает губить книги, какими бы они ни были. Для нас с тобою и нам подобных людей есть ли что-либо любезнее и великолепнее книг? Долго продлилось мое колебание; в конечном итоге я не решился дать великому государю Иоанну Басилидес совет простой и ясный: уничтожь, государь! Нет, не желая быть причиной столь необратимого действия, я сказал иное: государь, такое лучше всего спрятать там, где многие имеют представление о тайне подобных книг и иных предметов; отдадим же отреченную Хронику в Полоцк, той общине ученых людей, которая открыла суть всего явления; император, слава Богу, дал согласие. Со вчерашнего дня бремя хранения соблазнительной рукописи с меня снято. Его приняли на себя великие полоцкие философы и богословы, иноки, живущие крепкой жизнью монашеской. Ничто их не поколеблет, и тайна навсегда останется тайной. Ныне я спокоен.

Твой покорный *servus* Феодор,
с первого числа сего месяца
государев боярин и βιβλιοθηκάριος»

34

«Рад посланию твоему, хотя и кратка эпистолия. О делах наших даю тебе, чадо, краткое же отвещание.

Набегали недавней порой злые вояки караибы, племя поганое, да еще людоедское. С моря пришли – на лодках малых и на великих лодиях. Князь ополчился против них мужественно. Ему же и тайно из племени, кое с ним породнилось, своих бойцов дали. Милостив Бог ко христианом, побили карайбов, лодки их поймали и большие корабли. Ховра, от раны оправившись, на том бою много храбрствовал да лютого волхва карайбского на меч посадил. А ныне князь Глеб Афанасьевич матеру воевать собирается, тамошние великие царства Христу предавать.

Промеж старшим кормщиком нашим, мятежным Крестофором, и его супругою, славен Господь, сладилось. Родила ему раба Божия Мария сына, а крестил сына я и дал ему имя Стефан. Даст Бог, просветит сородичей своих, от Бога покамест бегающих, яко святой Стефан во Пермской земле зырян просвещал.

Как подрастет, учить его примусь грамоте, счету, молитве и закону Божьему.

Вот мне радость на старости лет! А то бреду, будто впотьмах, держусь разве только верою да удивленьем пред тем, как мудро и красно Господь наш мир устроил: там депо, и там депо, оттого глаз радуется и душа веселится. Старый я старик, зажился на свете. Словно бы свой век отвековал, а ныне чужой векою, чрез последний срок свой давно перейдя. И никак не приберет меня Господь ласковыми Своими руками на суд Свой нелицеприятный. По Богу я соскучился, хочу уже видеть Его, каков Он есть. Да Он меня не зовет, на сем свете покуда оставляет. Знать, чего-то еще хочет от меня, дряхлаца замшелого... Чего хочет? Вот не ведаю, авось подскажет как-нито. Я ведь в Него не то чтоб просто верю, я ведь люблю Его, и чего бы Он ни захотел, все сделаю и все отслужу.

А царство наше токмо по внешней видимости – закон, мягкость нравов и сила. Суть его иная, суть его глубже покоится. На самой же глубине его – истина, вера и любовь».

Олег Дивов

Американцы на Луне

Применение оружейных систем лунного базирования против наземных или космических целей осуществимо и желательно. Лунная военная мощь будет сильным сдерживающим фактором для войны из-за крайней трудности, с точки зрения противника, устранения нашей способности отомстить. Любые военные операции на Луне будут сложны для врага, если наши силы уже присутствуют там и имеют средства противодействия высадке или нейтрализации прилуннившихся враждебных сил.
Проект «Горизонт», том I, июнь 1959

В том, что луноход русский, не было никаких сомнений. Здоровенное ведро с крышкой и восемь колес. Во избежание кривотолков, чтобы ты сразу понял: это ведро прилетело на Луну строить коммунизм – на нем нарисовали флаг Советского Союза, а для совсем тупых еще и написали «USSR».

И снизу помельче: «Explosive do not touch».

Майор Эрл по долгу службы разбирался в луноходах и ничего подобного раньше не видел. Таких мощных аппаратов Совету еще не строили. Ведро было реально здоровое. В нем запросто поместилась бы пара космонавтов и осталось место для ракетной установки или миномета.

Крышка ведра была откинута. Это выглядело как приглашение: ну-ка, загляни. Оцени подарочек Только руками не трогай, а то взорвется... У обычного лунохода под крышкой теплообменник. У необычного – сам догадайся с трех раз.

Мирные русские луноходы не возникают ниоткуда на территории США, когда их там совсем не ждут.

Майор Эрл обеими руками протер глаза.

«Как-то мы промахнулись с тактикой, – подумал он. – Как-то мы забыли, что у русских все хуже, чем у нас, и всего меньше, чем у нас, за исключением одного. Дури у них однозначно больше».

Разработчики проекта «Горизонт» считали, что если Советам хватит наглости напасть на американскую лунную базу, это может быть только классическая сухопутная атака; враг скрытно подтянется вплотную, а потом в стремительном броске постарается разбить антенны и продырявить командный модуль. Любой другой вариант просто не имеет смысла.

Нельзя подобраться к Луне незаметно. Нельзя просто взять и направить боевую ракету с Земли, чтобы накрыть наш лунный форпост термоядерным взрывом. Мы успеем заметить, успеем спросить, что бы это значило, и ответим сокрушительным ударом, от которого нет спасения.

Перестрелка на Луне неминуемо означает, что Совету вот-вот начнут бойню на Земле. У русских только один шанс на победу в Третьей мировой войне: сначала захватить базу «Горизонт-1». Русские должны появиться здесь непосредственно перед нападением на Европу, или США, или на всех сразу, главное – внезапно, без объявления войны.

Это все, что остается русским, – подлость и вероломство. У них нет другого выхода, кроме как замаскировать вторжение под научную экспедицию. Высадиться в почтительном отдалении и атаковать с поверхности. Если еще доберутся до нас, ученые фиговы. Луна – суровая хозяйка.

На случай визита непрошенных гостей база «Горизонт-1» стоит тылом к неприступной скале, а спереди у нас запланированы обширные минные поля и система дальнего обнаружения. Русские придут да ка-ак напорются на мины! И тут мы ка-ак выскочим, да ка-ак перестре-

ляем их всех! А то и в плен возьмем кого-нибудь. И госдепартамент тихонько спросит у товарища Брежнева: ну что, поджигатель войны, допрыгался? Мы готовы устроить прямой эфир с Луны в любую минуту и что ты на это скажешь?

И товарищу Брежневу придется ответить, зачем его ученые полезли с оружием на нашу территорию.

Мы здесь тоже маскируемся под научную экспедицию, но это вынужденная необходимость, понятная и простительная.

А русским придется врать в глаза всему человечеству, и человечество им такого не забудет.

Казалось бы, все понятно. Кто первым успел закрепиться на Луне, тот и выиграл. Отсюда, ребята, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу... У-упс.

Посреди базы – советский луноход. Как на голову свалился.

Подлю-то как. Без единого выстрела.

На всякий случай майор Эрл протер глаза еще раз.

Очень хотелось сказать: «Ущипните меня кто-нибудь». Еще больше хотелось, чтобы ребята сейчас не выдержали и начали смеяться. Ну пошутили, да. Кто-то из хьюстонских умников смонтировал запись, а мои интеллектуалы вывели ее на обзорные мониторы с утра пораньше и теперь наслаждаются – смотрят, как у командира спросонья шерсть встает дыбом. Невинное солдатское развлечение. В конце концов, мы тут все солдаты.

Увы, дежурная смена базы «Горизонт-1» в полном составе, все двенадцать человек, тарасилась на луноход выпученными глазами и смеяться не собиралась. Она даже не очень дышала.

Луноход стоял точно посреди стройплощадки, рядом с выпуклыми крышками пятой и шестой ракетных шахт. Демонстрация силы, демонстрация возможностей. Чтобы забраться сюда, машине пришлось объехать по довольно сложной траектории кучу строительного мусора, а потом как-то протиснуться между фермами разобранного подъемного крана, буровой установкой и экскаватором. С учетом задержки сигнала – телевизионная картинка идет до Земли три секунды минимум – у русских чертовски ловкие операторы. Еще хуже, если луноход смог залезть на площадку самостоятельно, в автоматическом режиме.

– Кто-нибудь, ущипните меня, – буркнул позади капитан Робертс. – Или скажите, что это дурацкая шутка. Посмеемся вместе. Командир вас не накажет, обещаю. Я его уговорю. На коленях буду ползать.

В командном пункте висела тишина. Нехорошая такая, когда люди растеряны и напутаны. Все до единого, включая командира и заместителя.

– Хорошо. Тогда объясните мне, как мы его прошляпили! – Робертс начал повышать голос.

– Будто ты не знаешь, – сказал Эрл, не оборачиваясь. – Нечего искать виноватых, прекрати. Нашей вины тут нет. Русские нас обыграли. Если это то, о чем я думаю.

«Красиво обыграли, – добавил Эрл про себя. – Дешево и элегантно. Обидно, конечно. Если бы мы держались графика и успели расставить минные поля...»

Стоп-стоп. Во-первых, будем честны перед собой, армия США никогда за всю свою историю ничего не успела построить в запланированный срок и в рамках бюджета. Во-вторых, у нас и так национальная экономика чуть не треснула. Сотня запусков «Сатурнов» только за последние два года, почти триста тонн полезной нагрузки доставлено, включая пару атомных энергоблоков... Наконец, сами подумайте, какой может быть график, когда создается нечто невероятное, чего люди просто раньше не делали, а делать – надо.

Военная база на Луне, надежный оплот мира во всем мире, абсолютная защита от коммунистической угрозы, раз и навсегда. Такое чудо – восьмое чудо света практически, – и чтобы по графику? Да вы с ума сошли.

– Что? – переспросил Эрл, возвращаясь к реальности.

– Я сейчас не про нас конкретно, – сказал Робертс. – Я вообще. Как эта колымага сюда прилетела, а мы не знаем?!

– Приехала, – сухо поправил Эрл.

– Но сначала-то прилетела!

– Перестань, – сказал Эрл, уже пожестче. – Хватит. Ты ни в чем не виноват. Мы все не виноваты. Никто, черт побери, не виноват!.. Так, джентльмены, начинаем работать. Горетки! Бери телекамеру, иди осмотри эту штуку вблизи. Видишь, на ней написано – руками не трогать? Вот и не трогай. Даже не думай. Обязательно загляни внутрь, под крышку. Если тебе не хватит роста, подгони экскаватор и залезь на него. Ирвинг! Возьми счетчик Гейгера, померяй, что за чудо техники к нам пожаловало.

Люди наконец зашевелились, будто слова командира разбудили их. В командном отсеке стало привычно тесно, а то все сдулись и были маленькие-маленькие.

– Чего я намеряю, там наверняка плутониевые батареи, а может, вообще реактор, и небось фонит, как дырявый... – буркнул Ирвинг, направляясь к выходу.

– Наше дело – померять и доложить! – прикрикнул Робертс ему вслед.

– Твое дело, – уточнил негромко Эрл. – Сходи, проконтролируй. Ну и парни с тобой... Посмелее будут. И глупостей не натворят.

– Ты понимаешь, что это предательство? – прошипел Робертс. – Это нереально без предательства! Невозможно так перехитрить нас! Никакая разведка...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.